

pocketbook

ИЭН МАКЬЮЭН

На берегу

На берегу
Иэн Макьюэн

Аннотация
Иэн Макьюэн. На берегу
ГЛАВА 1
ГЛАВА 2
ГЛАВА 3
ГЛАВА 4
ГЛАВА 5

Аннотация

Иэн Макьюэн — один из авторов «правящего триумвирата» современной британской прозы (наряду с Джулианом Барнсом и Мартином Эмисом), лауреат Букеровской премии за роман «Амстердам». Его последняя книга «На берегу» также вошла в Букеровский шорт-лист.

Это, по выражению критика, «пронзительная, при всей своей камерности, история об упущенных возможностях в эпоху до сексуальной революции». Основные события происходят между Эдуардом Мэйхью и Флоренс Понтинг в их первую брачную ночь, и объединяет молодоженов разве что одинаковая неискушенность, оба вспоминают свою прошлую жизнь и боятся будущего.

Иэн Макьюэн
На берегу

Персонажи этого романа вымышленные и не имеют никакого сходства с живыми или умершими людьми. Гостиницы Эдуарда и Флоренс в миле с лишним к югу от Абботсбери в Дорсете, стоящей на возвышенности над полем позади прибрежной автостоянки, не существует.

И.М.

Анналине

ГЛАВА 1

Они были молодыми, образованными, оба — девственниками в эту их первую брачную ночь и жили в то время, когда разговор о половых затруднениях был невозможен. Но он всегда нелегок. Они только что сели ужинать у себя в номере на втором этаже гостиницы георгианских времен. За открытой дверью в соседнюю спальню видна была кровать с балдахином, довольно узкая, под белым покрывалом, постеленным так ровно, как будто его натянула не человеческая рука. Эдуард не сказал, что никогда не жил в гостинице, а Флоренс в детстве много разъезжала с отцом и повидала разные. Внешне они были в прекрасном настроении. Венчание в церкви Святой Девы Марии в Оксфорде прошло хорошо; служба была чинной, прием — праздничным, друзья из школы и колледжа провожали шумно и весело. Ее родители не смотрели снисходительно на его родителей, его мать больших оплошностей не совершила и не совсем забыла о причине торжеств. Молодые уехали на маленьком автомобиле матери Флоренс и ранним вечером прибыли

в гостиницу на побережье Дорсета. Погода для середины июля и для такого случая была не идеальная, но вполне приемлемая: без дождя, но недостаточно теплая, по мнению Флоренс, чтобы ужинать на открытой террасе, как они намеревались. На взгляд Эдуарда — достаточно теплая, но, вежливый сверх меры, он и не подумал бы противоречить ей в такой день.

Поэтому они ели в маленькой гостиной перед приоткрытыми стеклянными дверьми балкона с видом на Ла-Манш и бесконечную гальку косы Чизил-Бич.[1] Еду им подавали с тележки в коридоре два парня в смокингах, и вощеный дубовый пол «апартаментов для новобрачных» комически скрипел в тишине под их ногами. Гордый молодожен чувствовал себя защитником и внимательно следил, не проскользнет ли в их жестах или выражении лиц что-нибудь сатирическое. Он не потерпел бы хихиканья. Но эти парни из соседнего поселка занимались своим делом, почтительно согнув спины, с неподвижными лицами; манеры их были нерешительны, и, когда они ставили посуду на крахмальную полотняную

[1] Примечания: 1

Чизил-Бич — галечная коса длиной в 29 километров и шириной до 200 метров у побережья графства Дорсет в Южной Англии. От берега ее отделяет длинная узкая лагуна Флит.

скатерть, руки у них дрожали. Они сами робели.

Это был не лучший период в истории английской кухни, но тогда никого это не смущало, кроме гостей из-за границы. Трапеза началась, по обыкновению, с ломтика дыни, украшенного засахаренной вишенкой. В коридоре на серебряных тарелках, подогреваемых свечами, ждали кусочки давно поджаренной вырезки в загустевшем соусе, разваренные овощи и голубоватого оттенка картофель. Вино из Франции, но без указания области на наклейке с изображением одинокой стремительной ласточки. Эдуарду в голову не пришло бы заказать красное.

Не чая дождаться ухода официантов, Эдуард и Флоренс повернули стулья и разглядывали широкую мшистую лужайку, густой цветущий кустарник за ней и деревья на крутом склоне, спускавшемся к дороге на берег. Они видели первые слякотные ступеньки спуска, окаймленного растениями неправдоподобной величины, похожими на гигантский ревень и капусту, с разбухшими стеблями двухметровой высоты, гнущимися под тяжестью темных, с толстыми жилами листьев. Садовая растительность перла вверх, чувственная и тропическая в своем изобилии, особенно ярком в рассеянном сером

свете, под легким туманом с моря. Море накатывалось на берег с мягким громом и откатывалось, шипя на гальке. У них был план: после ужина переобуться в грубые туфли, прогуляться по косе между морем и лагуной, известной под названием Флит, и, если не допьют вино здесь, возьмут бутылку с собой и будут пить на ходу из горлышка, как рыцари с большой дороги.

Планов у них было много — планы головокружительные громоздились в туманном будущем, теснясь, как летняя флора дорсетского побережья, — и такие же красивые. Где и как они будут жить, кто будут их близкие друзья, он будет работать в фирме ее отца, она — заниматься музыкой, как распорядятся деньгами, подаренными ее отцом, как не похожи будут на остальных, по крайней мере внутренне. Это все еще была эпоха — она закончится к исходу того славного десятилетия, — когда молодость считалась социальным обременением, признаком несущественности, состоянием несколько неудобным, а женитьба — началом избавления от него. Почти чужие, они стояли в странной близости друг к другу на новой вершине существования, радуясь тому, что новый статус обещает избавление от бесконечной молодости, — Эдуард и Флоренс, свободны

наконец! Одной из любимых тем было у них детство — не столько его радости, сколько туман ошибочных представлений, из которого они выбрались, разнообразные родительские промахи и устарелые порядки, которые они могли теперь простить.

С этих новых высот они все видели ясно, но не могли описать друг другу некие противоречивые чувства: каждого по-своему беспокоил близкий уже момент, когда их новая зрелость подвергнется испытанию, когда они лягут на кровать с балдахином и откроют себя друг другу. Вот уже больше года он мечтал о том, как вечером назначенного июльского дня самая чувствительная его часть погрузится, пусть ненадолго, в естественную полость внутри этой веселой, красивой, изумительно умной женщины. Беспокоило же его — как достигнуть этого без нелепостей и разочарования. Конкретнее, после одного неудачного опыта он опасался чрезмерного возбуждения или, как кто-то выразился при нем, «прибежать слишком быстро». Опасение это почти постоянно присутствовало в его мыслях, но, как ни велик был страх перед неудачей, желание восторга, разрешения было гораздо сильнее.

Тревоги Флоренс были более серьезны, и по

дороге из Оксфорда ей временами хотелось набраться мужества и высказать их. Но то, что ее тревожило, было непроизносимо, да и для себя это сформулировать она едва ли могла. Если он просто нервничал перед первой ночью, то она испытывала животный страх, беспомощное отвращение, такое же несомненное, как морская болезнь. Все эти месяцы радостного приготовления к свадьбе ей по большей части удавалось не обращать внимания на единственное облако, омрачавшее счастье, но, когда ее мысли возвращались к тесным объятиям — иного названия она избегала, — в животе рождался спазм, к горлу подкатывала тошнота. В современном передовом справочнике молодожена — с его жизнерадостным тоном, восклицательными знаками и нумерованными иллюстрациями — она наталкивалась на фразы и слова, вызывавшие чуть ли не рвотные потуги: «слизистая оболочка», зловещая, голая «головка члена». Иные фразы оскорбляли ее интеллект — в особенности касающиеся «вхождения»: «перед тем, как он входит в нее», или: «теперь, когда он наконец вошел в нее», или: «радостно войдя в нее». Она что, обязана в эту ночь стать какой-то калиткой или гостиной, через которую он прошествует? И почти так же

часто встречалось слово, не сулившее ничего, кроме боли, раскрытия плоти перед ножом, — «проникновение».

В оптимистические минуты она пыталась убедить себя, что страдает всего лишь повышенной брезгливостью и это пройдет. Конечно, при мысли о яичках Эдуарда, подвешенных за «гиперемированным» пенисом — еще один жуткий термин, — у нее вздергивалась губа, а представить себе, что до нее кто-то дотронется «там», даже любимый, было так же невыносимо, как представить себе хирургическую операцию на глазу. Но на младенцев брезгливость не распространялась. Малышей она любила и, случалось, с удовольствием ухаживала за маленькими сыновьями двоюродной сестры. Думала, что будет счастлива носить ребенка от Эдуарда, и абстрактно, во всяком случае, совсем не боялась родов. Если бы только могла достигнуть этого разбухшего состояния, как мать Иисуса, волшебным образом.

Флоренс подозревала, что в ней что-то очень неправильно, что она всегда была не такая, как все, и сейчас наконец это выйдет наружу. Ее проблема глубже и серьезнее, чем простое физическое отвращение; все ее существо восставало

против плотской близости; ее самообладание и совершенное счастье будут насильственно нарушены. Она попросту не желала, чтобы в нее «входили» или «проникали». Секс с Эдуардом не может увенчать ее счастье, а будет ценой, которую она должна за это счастье заплатить.

Она понимала, что должна была давно это высказать, как только он сделал ей предложение, — задолго до визита к искреннему и ласковому викарию, до ужинов с ее и его родителями, до приглашения гостей на свадьбу, до списка подарков, отправленного в универсальный магазин, до аренды шатра и найма фотографа, до всех остальных необратимых приготовлений. Но что она могла сказать, какими словами выразить, если себе не могла объяснить? А ведь она любила Эдуарда, не с жаркой, влажной страстью, о которой читала, а душевно, тепло, иногда — как дочь, иногда почти по-матерински. Она любила прижаться к нему, любила, когда он обнимал ее громадной рукой за плечи, когда целовал ее, но не любила его язык у себя во рту и молча дала это понять. Его считала оригиналом, не похожим ни на кого из известных ей людей. В кармане пиджака у него всегда лежала книжка, обычно по истории, — на случай, если он окажется в

очереди или в приемной. В прочитанном он делал отметки огрызком карандаша. Из знакомых мужчин он, кажется, единственный не курил. Носки на нем всегда были не парные. Галстук — только один, синий, вязаный; он носил его почти всегда, с белой рубашкой. Она обожала его любознательный ум, мягкий сельский выговор, его невероятно сильные руки, неожиданные повороты его разговора, его доброту и взгляд его карих глаз, окутывавший ее теплым облаком любви, когда она говорила. Ей было двадцать два года, и она не сомневалась, что хочет провести всю оставшуюся жизнь с Эдуардом Мэйхью. Неужели же она рискнет его потерять?

Поговорить ей было не с кем. Сестра Рут слишком молода, а мать, замечательная по-своему женщина, слишком интеллектуальна, слишком холодна — старомодный синий чулок. Столкнувшись с интимной проблемой, мать впадала в ораторский или лекторский тон, употребляла все более длинные и длинные слова, ссылалась на книги, которые, по ее мнению, должен был прочесть каждый. И только когда вопрос был таким образом упакован, могла иной раз расслабиться до доброты, хотя случалось такое редко, да и тогда невозможно было понять, какой совет

ты получаешь.

У Флоренс были чудесные подруги из школы и музыкального колледжа, но с ними было противоположное затруднение: они обожали задушевные разговоры, с упоением обсуждали проблемы подруг. Все были знакомы между собой, со страстью перезванивались и переписывались. Доверить им секрет она не могла, но не ставила им это в вину, потому что сама принадлежала к кружку. Она и себе не доверилась бы. Она была наедине со своей проблемой, не зная даже, как к ней подступиться, и единственным источником мудрости был только этот справочник карманного формата. На вульгарно красной бумажной обложке, нарисованные как бы мелом, неумелой детской рукой, держались за руки два тощих, улыбающихся, пучеглазых человечка.

Они съели дыню меньше чем за две минуты, а парни, вместо того чтобы ждать в коридоре, стояли позади, возле двери, трогая свои бабочки и тугие воротники, одергивая манжеты. Ничего не выразилось на их неподвижных лицах, когда Эдуард комически претенциозным жестом протянул Флоренс свою вишенку. Она игриво взяла губами ягоду из его пальцев и, глядя ему в глаза, стала жевать, медленно, так что ему был

виден ее язык. Она понимала, что, заигрывая с ним, только осложняет свое положение: не надо затеваться с тем, что не готова продолжить. Но была потребность хоть чем-нибудь ему угодить, чтобы не чувствовать себя совсем бесполезной. Если бы только достаточно было для этого липкой вишенки.

Показывая, что ему не мешает присутствие официантов (хотя не мог дождаться их ухода), Эдуард улыбнулся, откинулся на спинку с бокалом в руке и спросил через плечо:

— Еще есть дыня?

— Больше нет, сэр. Извините.

Но рука с бокалом дрожала от внезапного прилива счастья и возбуждения, которого он не мог сдержать. Флоренс будто светилась изнутри, красивая, чувственная, талантливая, добрая до невероятия.

Официант, ответивший ему, просунулся к столу, чтобы забрать пустые тарелки. Его коллега за дверью перекладывал на тарелки второе блюдо, ростбиф. Вкатить тележку в апартаменты новобрачных для обслуживания у стола было невозможно: из-за непродуманной планировки, когда елизаветинскую ферму «георганизовали» в середине восемнадцатого века, была разница в

уровнях — две ступеньки.

Молодые на минуту остались одни, хотя слышно было, как скребут ложки по тарелкам и тихо переговариваются официанты за открытой дверью. Эдуард положил ладонь на ее руку и в сотый раз за сегодня сказал шепотом: «Я тебя люблю», она сразу ответила ему тем же, ответила с полной искренностью.

Эдуард получил степень бакалавра по истории в Лондонском университете. Три года он изучал войны, восстания, эпидемии, возвышение и крах империй, революции, которые пожирали своих детей, сельскохозяйственные беды, нечеловеческие условия труда в промышленности, жестокость правящих элит — красочную летопись несчастий, угнетения и несбывшихся надежд. Он понимал, как стеснена и убога может быть жизнь, поколение за поколением. В широкой перспективе мирные, благополучные времена, такие, какое переживала сейчас Англия, были редки, а в них счастье его и Флоренс — чем-то исключительным и даже единичным. В последний год он специально занялся изучением роли личности в истории — действительно ли устарела теория, согласно которой «великий человек» может определить судьбу страны? Его

руководитель считал, что безусловно устарела. Историей с большой буквы движут к неизбежной, необходимой цели неодолимые силы, и скоро этот предмет превратится в точную науку. Но биографии, которые Эдуард изучал подробно — Цезаря, Карла Великого, Фридриха II, Екатерины II, Нельсона и Наполеона (Сталин был опущен по настоянию руководителя), — склоняли к противоположной мысли. Безжалостная личность, голый оппортунизм и удача, доказывал Эдуард, могут круто повернуть судьбы миллионов — этот своевольный вывод принес ему четверку с минусом и чуть не оставил без степени.

Попутное открытие — что даже легендарный успех дарит мало счастья — усугубило его беспокойство, честолюбивый зуд. Утром, одеваясь к венчанию (фрак, цилиндр, омывание в одеколоне), он решил, что ни одной из личностей в его списке не ведомо было подобное удовлетворение. Его восторг — сам форма величия. Вот он — полностью или почти полностью совершившийся человек. В двадцать два года он затмил их всех.

Сейчас он смотрел на свою жену, в ее глаза, карие, со сложным узором крапинок на радужке и легчайшего молочно-голубого оттенка белками. Ресницы у нее были темные и густые, как у ребен-

ка, и в серьезности ее спокойного лица — тоже что-то детское. При определенном освещении в четкой лепке этого лица проглядывало что-то индейское, что-то от благородной скво. У нее был твердый подбородок и широкая безыскусная улыбка с морщинками в углах глаз. Ширококостая (некоторые матроны на свадьбе со знанием дела отмечали ширину ее бедер), а груди, которые Эдуард трогал и даже целовал, хотя весьма периферически, — маленькие. Кисти скрипачки, белые и сильные, и такие же сильные длинные руки — в школьные годы она отличалась в метании копья.

Эдуард всегда был равнодушен к классической музыке, но теперь приобщался к ее звонкому *арго: legato, pizzicato, con brio*. Постепенно, за счет безжалостного повторения, он приучался узнавать и даже любить некоторые пьесы. Особенно его трогала одна, которую она исполняла с подругами по квартету. Когда Флоренс упражнялась дома, играла свои гаммы и арпеджо, она надевала на волосы ленту — эта милая деталь навевала ему мечты об их будущей дочери. В игре ее была изощренность и точность, и ее хвалили за насыщенность звука. Один преподаватель сказал, что никогда еще не встречал студентку, у кото-

рой открытая струна пела бы с такой теплотой. Перед пюпитром в репетиционной комнате в Лондоне или у себя дома в Оксфорде, когда Эдуард лежал на кровати, смотрел на нее и желал ее, она держалась грациозно, с прямой спиной и гордо поднятой головой, и читала ноты с властным, почти надменным выражением, которое возбуждало его. Такая в ее повадке была уверенность, такое знание пути к удовольствию.

Пока дело касалось музыки — натирала ли она канифолью смычок, меняла ли струну, расставляла ли стулья для трех участников студенческого струнного квартета, который был ее страстью, — движения ее были плавны и решительны. Она была несомненным лидером, и в их многочисленных музыкальных спорах последнее слово всегда оставалось за ней. Но в обычной жизни она была на удивление неуклюжа и неуверенна, вечно сшибала пальцы на ногах, опрокидывала вещи, стукалась головой. Пальцы, умело бравшие двойные ноты в баховской партите, так же ловко проливали полную чашку чая на белую скатерть или роняли стакан на каменный пол. Она цеплялась ногой за ногу, если думала, что за ней наблюдают, и как-то призналась Эдуарду, что идти по улице навстречу знакомому — для

нее тяжелое испытание. А когда нервничала или стеснялась, рука ее то и дело тянулась ко лбу, чтобы откинуть воображаемую прядь волос — робким, трепетным движением, еще долго повторявшимся после того, как исчезла причина беспокойства.

Можно ли было не полюбить такую странную, особенную женщину, такую сердечную, глубокую, до болезненности честную, у которой каждая мысль, каждое чувство открывались взгляду обнаженными, в жестах и выражении лица, струясь как поток заряженных частиц? Даже без ширококостой ее красоты он все равно неизбежно полюбил бы ее. И она любила его, напряженно, с мучительной для него физической сдержанностью. Она пробуждала в нем не только страсть, вдвойне горячую из-за отсутствия надлежащего выхода, но и инстинкты защитника. Хотя так ли уж была она уязвима? Однажды он заглянул в ее папку с табелями успеваемости: показатель умственного развития по тестам — 152, на 17 пунктов выше, чем у него. В ту пору эти показатели считались мерой чего-то такого же осязаемого, как рост и вес. На репетициях квартета, когда у нее возникали разногласия по поводу фразировки, или темпа, или динамики

с Чарльзом, самоуверенным виолончелистом, чьи круглые щеки цвели позднеюношескими прыщами, Эдуард дивился ее хладнокровию. Она не спорила, она спокойно выслушивала, а затем объявляла свое решение. Тут никаких поползновений поправить прическу. Она знала, как надо, и была полна решимости руководить, как и полагалось первой скрипке. Кажется, и довольно грозного отца она заставляла делать то, что ей надо. За много месяцев до свадьбы он по ее просьбе предложил Эдуарду место. Хотел ли он этого сам или не осмелился отказать — вопрос другой. И она точно знала, благодаря какому-то женскому осмосу, что требуется для торжеств, — от размеров шатра до количества ягодного пудинга и на какую сумму он готов будет раскошелиться.

— Несут, — шепнула она и сжала его руку, предупреждая возможный порыв интимности.

Официанты приближались с тарелками мяса — на его тарелку наложено было вдвое больше. Кроме того, они принесли бисквит, пропитанный хересом, чеддер, мятные шоколадки и поставили на буфет. Дав сбивчивый совет насчет звонка возле камина — надо сильно нажать и держать, — парни удалились, с необыкновенной осторожностью затворив за собой дверь. По-

слышалось дребезжание увозимой по коридору тележки, затем тишина, потом торжествующий вопль, вероятно уже из бара внизу, и наконец молодожены остались одни. Переменившийся ветер или просто порыв его донес шум прибоя, словно где-то далеко бились стаканы. Туман поднимался, частично открылись контуры низких прибрежных холмов, дугой уходящих к востоку. Видна была светлая серая гладь — то ли шелковая полоса моря, то ли лагуны, то ли неба, понять было невозможно. Через приоткрытые балконные двери прилетел с ветром соблазнительный соленый запах свежести и простора; с ним никак не гармонировала крахмальная скатерть, загустевший соус с кукурузной мукой, тяжелое полированное серебро у них в руках. Свадебный обед был обильным и продолжительным. Они не успели проголодаться. Теоретически они могли оставить свои тарелки, взять бутылку за шею, выбежать на берег, скинуть туфли и насладиться волей. Никто в гостинице и не подумал бы их остановить Они стали взрослыми наконец, у них праздник, они свободны делать все, что хочется. Через каких-нибудь несколько лет так и поступили бы самые обыкновенные молодые люди. Но сейчас не то было время. Даже когда

Эдуард и Флоренс оставались наедине, над ними еще тяготели тысячи неписаных правил. Именно потому, что они взрослые, негоже по-ребячески убегать от стола, приготовленного для них с такими стараниями. Ребячливость была еще не в почете или не в моде.

Все же Эдуарда беспокоил зов берега, и если бы он знал, как это предложить или оправдать, то позвал бы ее туда сразу же. Раньше он почитал ей из путеводителя, где говорилось, что тысячелетия тяжелых штормов откалибровали и рассортировали гальку на двадцати девяти километрах косы и к восточному краю камни укрупняются. Согласно легенде, местные рыбаки, причаливая ночью к берегу, точно определяли место по размеру голышей. Флоренс сказала, что можно самим это проверить, если набирать по пригоршне через каждый километр. Бродить по берегу было бы лучше, чем сидеть здесь. Потолок, и так низкий, стал казаться ему еще ниже, садился на голову. Мешаясь с морским ветерком, от тарелки поднимался запах еды, затхлый, как дыхание домашней собаки. Возможно, Эдуард вовсе не так радовался, как внушал себе. Ужасный пресс стеснял его мысли, сковывал речь, и он ощущал острый физический дискомфорт: как

будто узки стали трусы или брюки.

Так что если бы у стола появился джинн и предложил Эдуарду назвать самое сильное желание, то и речи бы не было ни о каком береге. Единственное, о чем он мог думать, единственное, чего он хотел, — улечься с Флоренс голыми на кровать в соседней комнате и пережить наконец то колоссальное событие, которое представлялось ему таким же далеким от повседневности, как видение в религиозном экстазе или даже сама смерть. Ожидание — неужели это и вправду случится? с ним? — снова запустило свои холодные пальцы в низ живота, и голова его на миг обморочно наклонилась, но он остановил это движение и замаскировал довольным вздохом.

Как большинство молодых людей своего времени — и не только своего, — лишенных раскованности или средств сексуального выражения, он постоянно предавался тому, что один просвещенный авторитет именовал теперь самоудовлетворением. Эдуард обрадовался, когда встретил этот термин. Он родился достаточно поздно в XX веке, в 1940 году, и уже не надо было верить тому, что он вредит своему телу, портит зрение или что Бог взирает на него с суровым изумлением, когда он ежедневно принимается

за свой труд. Или что все об этом догадаются по его бледному самоуглубленному виду. Тем не менее какой-то неопределенный стыд омрачал его занятие — ощущение несостоятельности, ущербности и, конечно, одиночества. А удовольствие было лишь побочным благом. Главное — освобождение от напряженной, стягивающей сознание потребности в том, чего нельзя было немедленно получить. Как удивительно — эта собственного производства ложечка жидкости, выстреливающей из тела, сразу освобождала ум для новых размышлений о решительности Нельсона в заливе Абукир.

Единственным и самым важным вкладом Эдуарда в приготовления к свадьбе было недельное воздержание. Ни разу еще с двенадцати лет он не был так целомудрен с собой. Он хотел прийти к невесте в наилучшей форме. Это было нелегко, особенно ночью в постели, да и утром, когда просыпался, и долгими вечерами, и в часы перед ланчем, и после ужина, и перед сном. Теперь они были наконец вдвоем и женаты. Почему он не встал из-за стола, не покрыл ее поцелуями и не повел к кровати с балдахином в соседнюю комнату? Это было не так просто. Он имел длительный опыт столкновений с ее стыдливостью. Он даже

стал уважать ее стыдливость, принимая ту за благовоспитанность, уступку сексуально одаренной натуры обществу. В общем — свойством ее глубокой, сложной личности, проявлением ее высоких достоинств. Он убедил себя, что именно такой она ему нравится. Он не отдавал себе отчета в том, что ее сдержанность — как раз впору его неопытности и неуверенности; более чувственная и требовательная женщина, *необузданная* женщина, могла бы его испугать.

Это жениховство было паваной, оно развертывалось величаво, подчиняясь никогда не обсуждавшимся и не согласовывавшимся, но строго соблюдаемым протоколам. Ничто не обсуждалось — они и не испытывали потребности в интимных разговорах. То, что тревожило их, было за пределами речи, вне определений. Язык и практика психотерапии, кропотливый взаимный анализ, обмен валюты чувств были еще не в ходу. Известно было, что людей побогаче пользуют психоаналитики, но еще не принято было рассматривать себя в повседневном смысле как загадку, как сюжет психологического повествования или ожидающую решения проблему.

У Эдуарда с Флоренс ничто не происходило быстро. Важные сдвиги, молчаливые разрешения

расширить область того, что допустимо видеть или ласкать, — это достигалось очень постепенно. От октябрьского дня, когда он впервые увидел ее голые груди, до 19 декабря, когда он смог до них дотронуться, прошло изрядное количество времени. Поцеловал он их в феврале — но не соски, которые задел губами только раз в мае. Трогать его тело она позволяла себе еще осмотрительнее. Внезапный ход или радикальное предложение с его стороны — и месяцы честного труда могли пойти насмарку. Тот вечер в кино, на фильме «Вкус меда», когда он взял ее руку и поместил себе между ног, отбросил процесс на несколько недель назад. Она не стала холодна — такого с ней никогда не бывало, — но как-то неуловимо отдалилась, возможно в разочаровании или даже восприняв это как некоторое предательство. Потом, со временем, все пошло прежним порядком: в воскресенье, в конце марта, когда за окном шел сильный дождь и они сидели одни в неубранной гостиной маленького домика его родителей на Чилтернских холмах, она ненадолго положила руку ему на пенис или около. Секунд пятнадцать с надеждой и восторгом он ощущал ее сквозь два слоя ткани. Как только она отняла руку, он понял, что больше не выдержит. Он попросил ее выйти

за него замуж.

Он не представлял себе, чего ей стоило положить руку — тыльную сторону ладони — на такое место. Она любила его, она хотела сделать ему приятное, но для этого ей надо было преодолеть довольно сильное отвращение. Это была честная попытка — Флоренс, может, и была умна, но чужда хитростей. Она продержала там руку, сколько могла, — пока не ощутила шевеления и отвердения под серой фланелью брюк. Она почувствовала живое существо, отдельное от Эдуарда, — и дрогнула, и отступила. Потом он выпалил предложение, и в порыве чувств — радости, веселья, облегчения, — в порывистом объятии она на время забыла об этом маленьком шоке. А Эдуард был так потрясен собственной решительностью, так ограничен умственно желанием, не находящим выхода, что плохо представлял себе раздвоенность, в которой она будет жить с этого дня, — тайную борьбу радости с отвращением.

Итак, они были одни и вольны делать все, что захочется, но продолжали есть ужин, не испытывая никакого аппетита. Флоренс положила нож и пожала Эдуарду руку. Снизу слышалось радио — бой Биг-Бена перед десятичасовыми новостями. Постояльцы постарше, должно быть, сидели в

общей гостиной, оценивая мир, с последними перед сном стаканчиками виски — в гостинице был хороший выбор некупажированных, — и кое-кто, наверное, набивал трубку, тоже последнюю за день. Собраться у приемника перед главным выпуском новостей — привычка военных лет, с которой они уже не расстанутся. Эдуард и Флоренс расслышали краткую сводку, прозвучало имя премьер-министра, а минуты через две — и самого его знакомый голос. Гарольд Макмиллан выступал на вашингтонской конференции по поводу гонки вооружений и необходимости договора о запрещении испытаний. Кто бы не согласился, что неразумно и дальше испытывать водородные бомбы в атмосфере и заражать радиацией всю планету? Но никто моложе тридцати и уж точно ни Эдуард, ни Флоренс не верили, что британский премьер имеет большое влияние в мировой политике. Империя с каждым годом съеживалась, предоставляя одной стране за другой их законную независимость. Почти ничего уже не осталось, и мир принадлежал американцам и русским. Британия, Англия, стала второстепенной страной — в признании этого факта была некая кощунственная сладость. Внизу, конечно, они относились к этому иначе. Все, кому больше

сорока, участвовали в войне или пострадали от нее, видели смерть в необычных масштабах и не могли согласиться с тем, что наградой за все жертвы стала роль статиста.

Эдуарду и Флоренс предстояло впервые голосовать на выборах в парламент, и они страстно желали победы лейбористов, такой же решительной, как в 1945 году. Через год-другой старое поколение, все еще грезящее империей, непременно уступит место таким политикам, как Гейтскелл, Вильсон, Кросленд, — новым людям с мечтой о современной стране, где есть равенство и что-то реально делается. Если Америка могла найти себе вдохновенного и красивого президента Кеннеди, то и Британия может обрести кого-то подобного — хотя бы по духу, потому что никого такого блестящего в лейбористской партии не было видно. Твердолобые, все еще не расставшиеся с последней войной, все еще скучающие по ее дисциплине и аскетизму, — их время кончилось. И у Эдуарда, и у Флоренс было чувство, что скоро страна изменится к лучшему, что молодая энергия ищет выхода, как пар в закупоренном сосуде, и подогревалось оно взволнованным ожиданием их собственного совместного похода в будущее. Шестидесятые были первым десятилетием их

взрослой жизни и безусловно принадлежали им. Трубокуры внизу, в их блейзерах с серебряными пуговицами, с их двойными порциями «Коал Ила» и воспоминаниями о кампаниях в Северной Африке и Нормандии, с их бережно хранимыми остатками армейского жаргона, — они не могли претендовать на будущее. Пора на покой, джентльмены!

Туман поднимался, открылись взгляду ближние деревья, зеленые обрывы позади лагуны и клочки серебряного моря. Мягкий вечерний воздух обвевал стол, а они, скованные каждый своей тревогой, продолжали делать вид, что едят. Флоренс просто передвигала еду по тарелке. Эдуард жевал символические кусочки картошки, отламывая их вилкой. Они беспомощно слушали продолжение новостей, сознавая, как глупо с их стороны подключаться к тому же, чем занято внимание постояльцев внизу. Их первая ночь, а им нечего сказать. Из-под ног просачивались невнятные слова, но они расслышали «Берлин» и сразу поняли, что речь идет о событии, последние дни занимавшем всех. Группа немцев из коммунистической Восточной Германии захватила пароход на озере Ванзее и переправилась в Западный Берлин, прячась от пуль восточных по-

граничников возле рулевой рубки. Прослушали это сообщение и теперь, изнемогая, слушали третье — о заключительном заседании исламской конференции в Багдаде.

По собственной глупости прилипли к международной политике! Так больше не могло продолжаться. Пора было действовать. Эдуард приспустил узел галстука и с решительностью положил вилку и нож на тарелку параллельно.

— Можно спуститься туда и послушать по-человечески.

Он надеялся, что это прозвучит шуткой, иронией, обращенной на них обоих, но слова вырвались с непроизвольной свирепостью, и Флоренс покраснела. Она подумала, что он ее осуждает — предпочла ему радио, — и, прежде чем он успел смягчить свое замечание, поспешно сказала:

— А можно и лечь в постель. — И нервно смахнула со лба невидимую прядь.

Чтобы показать ему, как он ошибается, она предложила то, чего он, понятно, больше всего хотел, а сама она страшилась. Ей действительно было бы приятнее или необременительнее спуститься в гостиную и провести время за спокойной беседой с дамами на цветастых диванах, пока их мужья, подавшись к приемнику, ловят

бурный ветер истории. Что угодно, только не это.

Ее муж стоял, улыбался и церемонно протягивал ей руку через стол. Он тоже слегка порозовел. Его салфетка прилипла к животу, нелепо повисела там секунду, как набедренная повязка, потом спланировала на пол. Ничего не оставалось делать — разве что упасть в обморок, но притворщица она была никакая. Она встала и взяла его за руку, понимая, что ее застывшая ответная улыбка неубедительна. Ей не стало бы легче, если бы она знала, что Эдуарду в его полупомраченном состоянии она казалась милой, как никогда. Что-то особенное было в ее руках, вспоминал он потом, тонких и беззащитных, которые скоро должны были с любовью обвить его шею. И в ее прекрасных ореховых глазах, сиявших нескрываемой страстью, в слабом дрожании нижней губы, которую она только что смочила языком.

Свободной рукой он попытался взять бутылку и оба полупустых бокала, но это оказалось слишком трудно и отвлекало: бокалы столкнулись лбами, ножки скрестились в его руке, вино пролилось на скатерть. Тогда он взял только бутылку. Даже в теперешнем возбужденном состоянии, внутренне дрожа, он думал, что понимает при-

чину ее всегдашней сдержанности. Тем больше оснований радоваться сейчас, перед решающим событием, перед рубежом в их жизни. И потрясающе, что Флоренс сама позвала его в постель. Перемена статуса дала ей свободу. По-прежнему не выпуская ее руки, он обошел стол и придвинулся к ней, чтобы поцеловать. Подумал, что целоваться с бутылкой в руке пошло, и опять поставил ее на стол.

— Ты очень красивая, — прошептал он.

Она заставила себя вспомнить, как сильно любит этого человека. Он добр, чуток, он любит ее и не может причинить ей вред. Он обнял ее, она прижалась к его груди и вдохнула его запах, такой родной, отдававший деревом, успокаивающий.

— Я очень счастлива с тобой.

— И я счастлив, — тихо отозвался он.

Они поцеловались, и она сразу почувствовала его язык — напряженный и сильный, он пролез между ее зубами, как невежа, протискивающийся в комнату. Вошел в нее. А ее язык с инстинктивной брезгливостью отодвинулся, сложился, предоставив еще больше места Эдуарду. Он знал, что она не любит таких поцелуев, и никогда еще не вел себя так напористо. Крепко прижавшись губами к ее губам, он прощупал языком мягкое

донышко ее рта, потом провел по нижним зубам до пустого места, где три года назад ей вырвали под общим наркозом криво выросший зуб мудрости. К ямке обычно забредал и ее язык в минуты задумчивости. Так что это была скорее идея, нежели место, воображаемый пункт, а не ямка в десне, и странно было, что туда может забраться еще чей-то язык. Этот твердый узкий кончик чужого, трепетно-живого мускула вызывал неприязнь. Левая ладонь Эдуарда лежала у нее между лопатками, под самой шеей и пригибала ее голову. Флоренс была полна решимости ничем не обидеть его, но клаустрофобия, ощущение духоты все обострялись. Он был у нее под языком, толкал его вверх к нёбу, потом сверху толкал вниз, потом плавно скользил по бокам и вокруг, словно пытался завязать простой узел. Он хотел соблазнить ее язык на какие-то ответные действия, вовлечь в безобразный немой дуэт, но она могла только уклоняться и думала только о том, чтобы не оказать сопротивления, не запаниковать, чтобы ее не затошнило. Мелькнула дикая мысль: если ее вырвет ему в рот, их браку конец, придется вернуться домой и объясняться с родителями. Она прекрасно понимала, что это предприятие с языком, это проникновение —

имитация в малом масштабе, ритуальная *tableau vivant*[2] того, что будет дальше, как пролог старинной пьесы, в котором говорится обо всем, что в ней произойдет.

Флоренс стояла, дожидаясь конца этого эпизода, для проформы держа руки у него на бедрах. Она понимала, что столкнулась с голой истиной, самоочевидной задним числом, такой же древней и узаконенной, как «дань Дании»[3] или право первой ночи, настолько фундаментальной, что почти не требовала объяснения: решив выйти замуж, она согласилась именно на это. Согласилась, что полагается это сделать и что с ней это сделают. После церемонии, когда она с Эдуардом и их родители перешли в сумрачную ризницу, чтобы расписаться в регистрационной книге, они подписались именно под этим, а все остальное — ожидаемая зрелость, конфеты и торт — было всего лишь вежливым обрамлением. И если ей это не нравилось, то ответственность лежала целиком на ней, потому что все ее решения

---

[2] Примечания: 2

Tableau vivant — живая картина *(фр.)* .

[3] Примечания: 3

«Дань Дании», или «датская подать» — в средневековой Англии дополнительный налог на землю для выплаты дани завоевателям-датчанам. Впоследствии использовался для других целей.

в последний год вели именно к этому, виновата была она сама, и она действительно думала, что ее стошнит.

Услышав ее стон, Эдуард подумал, что он почти уже на вершине счастья. Возникло ощущение восхитительной невесомости, как будто его ноги на несколько сантиметров оторвались от земли и он приятно высится над Флоренс. Сердце с болезненной сладостью стучало под самым горлом. Радостным трепетом отзывалось в нем легкое касание ее рук не так уж далеко от паха, податливость ее тела в его объятии и шум ее частого, взволнованного дыхания. Она дышала носом; ее язык мягко ответил на его натиск, и Эдуарда это привело в возбуждение, близкое к экстазу; холодное и острое, оно сконцентрировалось почему-то под ребрами. Может быть, однажды, скоро, он убедит ее — может быть, даже сегодня вечером, а может, даже убеждать не понадобится — взять в эти мягкие прекрасные губы его член. Но эту мысль надо было как можно быстрее прогнать, а то в самом деле все могло закончиться прежде времени. Он уже чувствовал, как там назревает, подвигает его к позору. Он вовремя вспомнил о новостях, представил себе премьер-министра Гарольда Макмиллана — высокий, сутуловатый,

герой войны, старикан с моржовыми усами, он олицетворял что угодно, кроме секса, и идеально подходил для неотложной цели. Внешнеторговый дисбаланс, ограничение роста зарплат, поддержание розничных цен. Некоторые проклинали его за то, что распускает империю, но другого выхода не было, в Африке дул ветер перемен. От лейбориста никто бы такого не потерпел. И он только что уволил треть кабинета — «ночь длинных ножей». Для этого требовалась отвага. «Мэкки-нож» — назвали его в одном заголовке, в другом — «Макбет!». Серьезные люди сетовали, что он наводнил страну телевизорами, автомобилями, супермаркетами и прочим хламом. Он позволил людям получать то, чего они хотели. Хлеб и зрелища. Теперь он хочет, чтобы мы влились в Европу, и кто с уверенностью скажет, что это неправильно?

Успокоился. Мысли Эдуарда рассеялись, он снова весь превратился в язык, в его кончик, и в ту же самую секунду Флоренс почувствовала, что больше не выдержит. Ощущение было такое, как будто ее связали и душат; она задыхалась, ее мутило. И слышался звук, постепенно повышавшийся — не ступенями, как в гамме, а плавным глиссандо, — не скрипки звук и не голоса, а нечто

среднее; он нарастал невыносимо, все время оставаясь в диапазоне слышимости, — голос-скрипка, почти осмысленный, говорил ей что-то очень важное гласными и свистящими, более примитивными, чем слова. Может быть, он раздавался в комнате, или шел из коридора, или же рождался в голове, как шум крови в ушах. Ей было все равно, ей надо было освободиться.

Она отдернула голову и вырвалась из его рук. Он смотрел на нее удивленно, все еще с открытым ртом, и лицо его постепенно приобретало вопросительное выражение. Тогда Флоренс схватила его за руку и повела к кровати. Это был противоестественный поступок, даже безумный — ей хотелось только выбежать из комнаты, через сад, по улочке, на берег и там посидеть одной. Хотя бы минуту — и то стало бы легче. Но слишком сильно было в ней чувство долга, она не могла ему противиться. Не могла оставить мужа одного. Если бы вся свадебная коллегия гостей и родственников невидимо набилась в эту комнату и наблюдала за ними, эти призраки все приняли бы сторону Эдуарда, сочувствовали бы его горячему законному желанию. Они решили бы, что с ней что-то не так, и были бы правы.

Она сама понимала, что ведет себя жалко.

Чтобы уклониться от одного отвратительного дела, ей пришлось поднять ставку и вызваться на другое, создав обманчивое впечатление, что жаждет его. Заключительный акт нельзя было откладывать бесконечно. Он приближался, и она сама глупо торопила его. Она ввязалась в игру, правила которой не могла подвергнуть сомнению. Не могла противиться логике, которая вынуждала вести или буксировать Эдуарда к открытой двери в спальню, к узкой кровати с балдахином и ровным белым покрывалом. Она понятия не имела, что будет делать, когда они там окажутся, но, по крайней мере, жуткий звук прекратился, и в эти несколько секунд, пока они идут, ее рот и язык принадлежат ей, она может дышать и попытаться совладать с собою.

ГЛАВА 2

Как они встретились и почему в современную эпоху эти возлюбленные так робки и невинны? Они считали себя слишком просвещенными, чтобы верить в судьбу, и все же казалось парадоксальным, что встреча, перевернувшая жизнь, произошла случайно и зависела от сотни мелких событий и решений. Страшно представить себе, что этого вообще могло не произойти. И в первом приливе любви они часто удивлялись тому, как близко сходились их пути в школьные годы, когда Эдуард, бывало, спускался из их неопрятного домика на Чилтернских холмах в Оксфорд на ярмарку Святого Джайлза в начале сентября или спозаранку на майский праздник (нелепый и раздутый ритуал, соглашались оба);[4] или чтобы взять напрокат ялик на реке Черуэлл — хотя это было только раз; или, в старших классах, противозаконно выпить пива в пабе «Тёрл». Он даже думал, что однажды его с другими трина-

---

[4] Примечания: 4

...майский праздник (нелепый... ритуал...) — Народный майский праздник отмечается в первое воскресенье мая танцами вокруг «майского дерева» — столба с цветами и флажками — и коронованием королевы мая.

дцатилетними ребятами привозили автобусом в оксфордскую среднюю школу на викторину, где их разгромили тамошние девочки, до ужаса осведомленные и выдержанные, как взрослые. А может быть, это была другая школа. Флоренс не помнила, чтобы состояла в команде, но призналась, что любила такие состязания. Когда они сравнивали свои оксфордские маршруты и памятные места, обнаруживалось много совпадений.

Детство и школьные годы кончились, и оба выбрали Лондон: он — Юниверсити-колледж, она — Королевский музыкальный колледж, и, естественно, встречи не произошло. Эдуард поселился у вдовой тетки в Кэмден-тауне и каждое утро ездил на велосипеде в Блумсбери. Он работал весь день, а по выходным играл в футбол и пил пиво с однокурсниками. Пока самого его не стало это смущать, не прочь был иной раз подраться возле паба. Единственным серьезным не физическим развлечением было у него слушание музыки — энергичного «электрик-блюза», который оказался предшественником и локомотивом английского рок-н-ролла. Музыка эта, по его мнению, была несравненно выше хилых мюзик-холльных песенок из Ливерпуля, на которых через несколько

лет помешается весь мир. Вечерами он часто шел из библиотеки в «Клуб 100», послушать «Пауэрхаус Фор» Джона Мэйолла, или Алексиса Корнера, или Брайана Найта. В эти три студенческих года вечера в клубе были его вершинным культурным впечатлением, и в дальнейшем он считал, что именно музыка сформировала его вкусы и даже определила сюжет жизни.

Немногие знакомые девушки — в те дни их было мало в университетах — приезжали на лекции из пригородов и уезжали в конце дня — видимо, в соответствии со строгим наказом родителей быть дома к шести. Устно это не выражалось, но все их поведение говорило о том, что они «соблюдают себя» для будущего мужа. Никаких сомнений быть не могло: чтобы переспать с любой из них, надо было жениться. Двое друзей, порядочные футболисты, пошли по этому пути, женились на втором курсе и исчезли из виду. Один из этих несчастных явил собой особенно поучительный пример. От него забеременела девушка из университетской администрации, после чего его, по мнению друзей, «потащили к алтарю»; на год он пропал. А потом его случайно встретили на Патни-Хай-стрит с детской коляской — в то время это еще считалось унизительным для мужчины.

Газеты писали о Пилюле — нелепая надежда, очередная сказка об Америке. Блюзы, которые Эдуард слушал в «Клубе 100», создавали впечатление, что всюду вокруг, невидимо для него, сверстники ведут без устали бурную половую жизнь, приносящую всевозможные радости. Поп-музыка была пресной, все еще застенчивой в этом вопросе, фильмы — не многим откровеннее, и в его кругу мужчины должны были довольствоваться похабными анекдотами, корявым сексуальным хвастовством и шумной своей компанией, разогреваемой яростным питьем, что только уменьшало шансы познакомиться с девушкой. Социальные перемены никогда не идут ровным шагом. По слухам, на филологическом и чуть дальше, в институте Востока и Африки, и еще чуть дальше, в Лондонской школе экономики, мужчины и женщины в тугих черных джинсах и черных свитерах запросто спали друг с другом, без необходимости знакомиться с родителями партнера. Поговаривали даже о марихуане. Иногда из интереса Эдуард захаживал на филологическое, надеясь обнаружить признаки земного рая, но коридоры, доски объявлений и даже женщины ничем там не отличались.

Флоренс жила на другом краю Лондона, побли-

зости от Альберт-Холла, в чинном общежитии для студенток, где свет гасили в одиннадцать, гостей-мужчин не пускали вообще, и девушки беспрестанно забегали в комнаты подруг. Флоренс упражнялась по пять часов в день и ходила с подругами на концерты. Предпочитала камерные концерты в Уигмор-холле, иногда посещала по пять в неделю, дневных и вечерних. Она обожала сумрачную серьезность этого места, поблекшие шелушащиеся стены за сценой, лоснистое дерево панелей, толстый красный ковер в вестибюле, главный зал, похожий на позолоченный туннель, знаменитый купол над сценой, символизирующий, как ей объясняли, тягу человечества к великой абстракции музыки с Гением Гармонии, изображенным в виде шара вечного огня. Она преклонялась перед ветхими господами, которые по несколько минут выбирались из такси, ковыляли с палками к своим местам и в напряженном критическом молчании слушали музыку — кое-кто из них, укрыв колени клетчатым пледом. Эти ископаемые с их шишковатыми морщинистыми черепами, смиренно наклоненными к сцене, олицетворяли для Флоренс отшлифованный опыт, мудрость оценок и, может быть, музыкальное мастерство, которому больше не могли послужить

артритные пальцы. И одно то уже вселяло трепет, что на этой сцене играло столько всемирно знаменитых музыкантов и начиналось столько великих биографий. Здесь она присутствовала при дебюте шестнадцатилетней виолончелистки Жаклин Дюпре. Музыкальные привязанности самой Флоренс были неоригинальны, но очень сильны. Какое-то время она была одержима первыми шестью квартетами Бетховена, потом его великими последними квартетами. Шуман, Брамс, а потом, в последний год, — квартеты Фрэнка Бриджа, Бартока и Бриттена. За три года она прослушала всех этих композиторов в Уигмор-холле. На втором курсе ей дали работу за сценой — в просторной зеленой комнате она заваривала чай для артистов, смотрела в глазок, чтобы открыть им дверь, когда они уходили со сцены. Иногда переворачивала ноты пианистам в камерных ансамблях, а однажды стояла рядом с Бенджамином Бриттеном, когда исполнялись песни Гайдна, Фрэнка Бриджа и самого Бриттена. Пели мальчик-дискант и Питер Пирс — уходя вместе с великим композитором, Пирс сунул ей десятишиллинговую бумажку. В соседнем доме под фортепьянным салоном она обнаружила комнаты для упражнений, где легендарные пиа-

нисты, в частности Черкасский и Огден, целыми утрами долбили по клавишам, как дорвавшиеся до инструмента первокурсники. Холл стал ее вторым домом — она чувствовала себя собственницей каждого темного, неряшливого закутка и даже холодных цементных ступенек, спускавшихся к уборным.

Среди прочих ее обязанностей была уборка зеленой комнаты, и однажды в мусорной корзине она нашла ноты, выброшенные квартетом «Амадеус» с их карандашными пометками, неразборчивыми и бледными. Она пришла в восторг, расшифровав наконец слова: «На си — атака». Она придумала себе, что получила важное послание или судьбоносную подсказку, и две недели спустя, вскоре после начала третьего учебного года, пригласила трех лучших студентов колледжа составить с ней квартет.

Единственным мужчиной был Чарльз Родуэй, виолончелист, но он не вызывал у нее романтического интереса. Студенты мужского пола, увлеченные музыкой, бешено честолюбивые, ничего не желавшие знать, кроме своего инструмента и репертуара, ее не привлекали. Когда какая-нибудь девушка начинала встречаться с кем-нибудь из студентов постоянно, она напрочь

выпадала из общения, точно как футбольные друзья Эдуарда. Как будто ушла в монастырь. Поскольку встречаться с молодым человеком, не теряя подруг, представлялось невозможным, Флоренс предпочла держаться своего кружка в общежитии. Ей нравились шутливые перепалки, доверительность, отзывчивость, общая суматоха по случаю дней рождения, трогательная суета с чайниками, фруктами, одеялами, если ты заболевала гриппом. Годы в колледже были для нее годами свободы.

Карты Лондона у Эдуарда и Флоренс не совпадали. Она почти ничего не знала о пабах Фицровии и Сохо и, хотя давно собиралась, так и не побывала в читальне Британского музея. А он ничего не знал об Уигмор-холле, о чайных в окрестности ее общежития, ни разу не бывал на пикнике в Гайд-парке и не катался на лодке по Серпантину.[5] Они были приятно удивлены, выяснив, что в 1959 году в один и тот же день находились на Трафальгарской площади — вместе с двадцатью тысячами других людей, требовавших запретить бомбу.

Они так и не встретились, пока не закончили

---

[5] Примечания: 5

Серпантин — продолговатый пруд в Гайд-парке.

учебу в Лондоне, не вернулись к себе домой с застывшим там детством, не высидели две жаркие, томительные недели в ожидании результатов экзаменов. Позже они особенно дивились тому, что ведь вообще могли не встретиться. У Эдуарда этот день мог пройти как большинство других — он уходил в конец узкого сада, садился на замшелую скамью в тени гигантского вяза и читал, вне досягаемости для матери. В пятидесяти метрах от него ее лицо, бледное и расплывчатое, как ее акварели, застывало минут на двадцать в окне гостиной или кухни и наблюдало за ним. Он старался не обращать внимания, но взгляд ее был как прикосновение ее руки к спине или плечу. Потом он слышал ее за пианино, спотыкающейся на какой-нибудь пьесе из клавирной книжечки Анны Магдалены,[6] — другой классической музыки он тогда не знал. Через полчаса она могла вернуться к окну и снова глядеть на него. Она никогда не подходила поговорить, если видела его с книгой. Много лет назад, еще в его школьные годы, отец терпеливо внушал ей, чтобы она ни в коем случае не мешала занятиям сына.

---

[6] Примечания: 6

…из клавирной книжечки Анны Магдалены… — Клавирные книжечки Анны Магдалены Бах — сборники клавирных пьес (1722 и 1725 гг.), написанных И. С. Бахом для своей второй жены.

В то лето, после выпускных экзаменов, он заинтересовался фанатическими средневековыми сектами и их одержимыми вождями, которые регулярно объявляли себя мессиями. Второй раз за год он читал «В поисках тысячелетнего царства» Нормана Кона. Воспаленные Апокалипсисом и видениями Даниила, убежденные, что Папа — Антихрист, тысячные толпы черни шли по сельской Германии, от города к городу, истребляя евреев, где могли их найти, священников, а иногда и богатых. Потом власти жестоко подавляли движение, а через несколько лет в другом месте возникала новая секта. В серой безопасности своего житья Эдуард увлеченно и с легким ужасом читал об этих повторяющихся вспышках помешательства, благодаря судьбу за то, что живет во время, когда религия выгорела до несущественности. Он подумывал, не подать ли в докторантуру, если результаты выпускных экзаменов будут достаточно успешными. Это средневековое безумие вполне годилось как тема.

Гуляя по буковому лесу, он мечтал о том, чтобы написать серию коротких биографий, — это будут полубезвестные персонажи, находившиеся близко к центру важных исторических событий. И первым — сэр Роберт Кэри, человек,

который семьдесят часов скакал из Лондона в Эдинбург, чтобы сообщить о смерти Елизаветы I ее преемнику Якову VI Шотландскому. Кэри был интересной фигурой и очень кстати написал мемуары. Он сражался против непобедимой армады, был известным фехтовальщиком, был лордом-гофмейстером. Утомительная поездка на север должна была возвысить его при новом короле, однако он как-то затерялся.

В более реалистическом настроении Эдуард думал, что надо найти хорошую работу, преподавать историю в классической школе и избежать армии.

Если он не читал, то обычно уходил по дороге, по липовой аллее к поселку Нортэнд, где жил его школьный друг Саймон Картер. Но в это утро, устав от книг, от птичьих песен и сельского покоя, Эдуард вывел из сарая свой школьный разболтанный велосипед, поднял седло, накачал шины и покатил куда глаза глядят. В кармане у него была фунтовая бумажка и две полукроны, и единственное, чего он хотел, — ехать. На опасной скорости — тормоза почти не держали — он проехал по зеленому туннелю, вниз по холму, мимо ферм Балэма и Стрейси, спустился в долину Стонор и решил доехать до Хенли, еще шесть километров.

В городе он направился на железнодорожную станцию со смутным намерением поехать в Лондон и повидать друзей. Но поезд у платформы отправлялся в другую сторону, в Оксфорд.

Через полтора часа, в полуденной жаре, он уже брел по центру города, все еще скучая и злясь на себя за то, что впустую потратил время и деньги. Когда-то это была местная столица, источник надежд и радостных волнений. Но после Лондона Оксфорд казался игрушечным городом, приевшимся, нелепым в своих притязаниях. Когда швейцар в шляпе сердито посмотрел на него из двери колледжа, он чуть не повернул назад, чтобы потолковать с ним. Но вместо этого решил утешиться кружкой пива. На улице Сент-Джайлз, двигаясь к пабу «Игл энд чайлд», он увидел рукописное объявление о том, что сегодня в обеденное время состоится собрание местного отделения Движения за ядерное разоружение. Он не особенно любил эти серьезные сборища — ни драматическую их риторику, ни скорбную высоконравственность. Конечно, бомба ужасна и ее надо запретить, но он ни разу не услышал ничего нового на собраниях. Однако был членом, платил взносы, делать ему было нечего, и долг глухо нашептывал ему: он обязан участвовать в

спасении мира.

Эдуард прошел по выстланному плиткой коридору, и сумрачный зал с низкими крашеными кровельными балками и церковным запахом полироли и пыли встретил его нестройным гулом голосов. Когда глаза привыкли, он раньше всего увидел Флоренс — она стояла у двери и разговаривала с тощим желтолицым человеком, державшим стопку брошюрок. На ней было белое бумажное платье с расклешенной юбкой и туго затянутым на талии синим кожаным поясом. Мелькнула мысль, что она медицинская сестра. В абстракции медсестры представлялись ему соблазнительными, потому что — так ему нравилось фантазировать — они уже все знали о его теле и его нуждах. В отличие от большинства девушек, на которых он глазел на улицах и в магазинах, она не отвела взгляд. Выражение лица у нее было насмешливое или ироническое — возможно, от скуки и желания развлечься. Это было странное лицо, безусловно красивое, но с отчетливым, скульптурным костяком. В сумраке зала, при боковом свете из высокого окна справа, ее лицо походило на резную маску, одухотворенную и мирную, несколько загадочную. Войдя в зал, он не остановился. Он шел к ней, не пред-

ставляя себе, что скажет. Техникой знакомства он не владел.

Она смотрела на него, пока он подходил, а когда подошел, взяла брошюру из стопки у своего друга и сказала: «Не хотите? Она о том, как водородная бомба упадет на Оксфорд».

Когда он забирал брошюру, палец Флоренс наверняка не случайно скользнул по внутренней стороне его запястья. Эдуард сказал: «Всю жизнь мечтал прочесть об этом».

Ее коллега смотрел на него злобно, дожидаясь, когда он отойдет, но Эдуард не двинулся с места.

Ей тоже не сиделось дома — в викторианской, готического стиля вилле недалеко от Банбери-роуд, в пятнадцати минутах ходьбы от нее. Ее мать Виолетта, весь жаркий день проверявшая выпускные экзаменационные работы, плохо переносила музыкальные упражнения дочери — бесконечные гаммы, арпеджо, двойные ноты, игру по памяти. У нее это называлось «воплями»: «Дорогая, я еще не закончила. Ты не могла бы продолжить вопли после чая?»

Подразумевалось, что это добродушная шутка, но Флоренс, всю неделю пребывавшая в непривычно раздраженном состоянии, восприняла ее как еще одно свидетельство того, что мать не

одобряет ее профессию, враждебна к музыке вообще, а следовательно, к ней самой. Она понимала, что мать стоило пожалеть. Мать была настолько лишена слуха, что не могла узнать ни одной мелодии и даже государственный гимн отличала от «Happy Birthday» только по обстоятельствам исполнения. Она была из тех людей, которые не могут сказать, какая нота выше, а какая ниже. На взгляд Флоренс, это был такой же изъян и несчастье, как косолапость или заячья губа, но после относительной свободы Кенсингтона домашняя жизнь казалась ей мелочным угнетением, и это мешало испытывать сочувствие. Например, ей нетрудно было убирать по утрам постель — она всегда убирала, — но ее возмущало, что каждый раз за завтраком ее об этом спрашивают.

И после того, как она пожила вне дома, отец часто вызывал у нее противоречивые чувства. Иногда просто физическое неприятие — она не могла видеть его блестящую лысину, маленькие белые ручки, выслушивать его беспокойные планы касательно того, как улучшить свой бизнес и зарабатывать еще больше денег. И его высокий тенор, вкрадчивый и вместе с тем начальственный, с причудливыми акцентами. Она терпеть не могла его восторженных сообщений о яхте,

нелепо названной «Сладкая слива», которую он держал в гавани Пула. Ее раздражали рассказы о парусе нового типа, о судовой радиостанции, о специальном лаке для яхт. В прежнее время он брал ее с собой, и несколько раз, когда ей было двенадцать и тринадцать, они доходили до Картере близ Шербура. Они никогда не говорили об этих плаваниях. Больше он ее не приглашал, и она была этому рада. Но иногда в приливе материнских чувств и виноватой любви она подходила сзади к его стулу, обнимала его за шею, целовала в макушку и терлась о голову носом, вдыхая его свежий запах. А после сама себе была противна.

И младшая сестра действовала ей на нервы своим новым простонародным выговором, намеренной бестолковостью за роялем. Как они выполнят заказ отца — сыграют марш Сузы, — если Рут делает вид, что не может отсчитать четыре доли в такте?

Как всегда, Флоренс умело скрывала свои чувства от родных. Это не требовало усилий — она просто выходила из комнаты, когда это можно было сделать недемонстративно, и потом была довольна, что не сказала родителям или сестре ничего злого или обидного; иначе она всю ночь

не спала бы от огорчения. Флоренс постоянно напоминала себе, как она любит свою семью, еще надежнее загоняя себя в молчание. Она прекрасно знала, что люди ссорятся, и даже бурно, а потом мирятся. Но не знала, как начать, не владела механикой ссоры, очищающей воздух, и не верила, что злые слова можно взять назад и забыть. Лучше всего не усложнять. Тогда можно винить только себя саму — когда чувствуешь себя, как персонаж из газетной карикатуры, у которого из ушей валит пар. Были у нее и другие заботы. Сесть ей со вторыми скрипками в провинциальном оркестре — она сочла бы большой удачей, если бы ее взяли в Борнмутский симфонический, — или еще год прожить на содержании у родителей, точнее, отца, репетировать со своим квартетом и добиваться первого ангажемента? Это значило бы жить в Лондоне, а ей не хотелось просить лишние деньги у Джеффри. Виолончелист Чарльз Родуэй предложил ей свободную спальню в родительском доме, но он был хмурый, напряженный парень и бросал на нее поверх пюпитра долгие многозначительные взгляды. Поселившись у него, она будет в его власти. Она знала еще об одном месте, куда ее возьмут, — ресторанное трио в захудалом гранд-отеле к югу от

Лондона. Смущала не музыка, которую придется там играть, — все равно никто не слушает, — но какой-то инстинкт или просто снобизм внушил ей, что она не может жить в Кройдоне или около. Она убедила себя, что результаты выпускных экзаменов помогут ей принять решение, и поэтому, так же как Эдуард среди лесистых холмов в двадцати пяти километрах к востоку, проводила дни как бы в приемной, нервически дожидаясь начала жизни.

Вернувшись из колледжа, уже не школьница, в некоторых отношениях зрелая, чего дома, кажется, не замечали, Флоренс осознала, что политические взгляды родителей ее не устраивают, и тут, по крайней мере, позволила себе открыто противоречить за обеденным столом — растрепанные споры тянулись долгими летними вечерами. С одной стороны, это давало разрядку, с другой — обостряло общее раздражение. Виолетта искренне интересовалась участием дочери в Движении за ядерное разоружение, дочери же было трудно с мамой-философом. Ее сердило спокойствие матери, а вернее, напускная грусть, с какой она выслушивала дочь, после чего излагала свое мнение. Она говорила, что Советский Союз — бесстыдная тирания, жестокое, безжа-

лостное государство, повинное в геноциде таких масштабов, что превзошло даже нацистскую Германию и покрыло страну сетью каторжных лагерей. Говорила о показательных процессах, цензуре, бездействии законов. Советский Союз попирает достоинство и фундаментальные права человека, оккупировал и душит соседние страны — в университете у нее были друзья из чехов и венгров, — экспансия заложена в его природе, и с ним надо бороться, как с Гитлером. А если нельзя бороться, потому что у нас не хватит танков и солдат, чтобы защитить северо-германскую равнину, то надо действовать устрашением. Месяца через два она укажет на строительство Берлинской стены как на окончательное доказательство своей правоты: теперь коммунистическая империя стала одной гигантской тюрьмой.

В глубине души Флоренс знала, что Советский Союз при всех его ошибках — неуклюжести, неэффективности, психологии осажденного, а отнюдь не злокозненности — по существу благотворная сила в мире. Он всегда выступал за освобождение угнетенных, противостоял фашизму и пагубе алчного капитализма. Сравнение с нацистской Германией ее возмущало. Во взглядах Виолетты она узнавала все штампы проамериканской про-

паганды. Она была разочарована в матери и даже сказала об этом.

А отец придерживался именно таких воззрений, каких и ожидаешь от бизнесмена. Полбутылки вина прибавляли словарю яркости: Гарольд Макмиллан, дурак, что отдает империю без сопротивления, чертов дурак, не борется с профсоюзами за ограничение зарплат, жалкий дурак, что ломает шапку перед европейцами и просится в их зловещий клуб. Возражать отцу было трудно. Флоренс не могла отделаться от неловкого чувства, что обязана ему. Среди привилегий ее детства было постоянное отцовское внимание, какое оказывалось бы сыну, наследнику. Прошлым летом он регулярно ездил с ней после работы в своем «хамбере», чтобы она могла сдать на водительские права, когда ей исполнится двадцать один. Она не сдала. Скрипичные уроки с пяти лет, летние курсы в специальной школе; лыжные и теннисные уроки, уроки пилотирования, от которых она решительно отказалась.

И путешествия: вдвоем, пешие, в Альпах, по Сьерра-Неваде, по Пиренеям, и особые угощения — однодневные деловые поездки в европейские города, где они останавливались в самых дорогих отелях.

Флоренс вышла из дома в первом часу дня после безмолвного спора из-за хозяйственного пустяка — Виолетте не особенно нравилось обращение дочери со стиральной машиной — и сказала, что ей надо отправить письмо и ко второму завтраку она не вернется. На Банбери-роуд она повернула к центру города со смутным расчетом пройти через крытый рынок и встретить кого-нибудь из школьных подруг. Или купить там булочку и съесть на лугу колледжа Крайстчерч,[7] в теньке у реки. Увидев объявление на Сент-Джайлз-стрит, то, которое Эдуард увидит через пятнадцать минут, рассеянно вошла внутрь. Мысли ее были заняты матерью. После общежития, где она была окружена любящими подругами, Флоренс ощутила дома, насколько они с матерью далеки физически. Мать никогда не целовала и не обнимала ее, даже маленькую. Она почти не прикасалась к дочери. Впрочем, это, наверное, не было таким уж большим лишением. Виолетта была костлявая и низенькая, и Флоренс не особенно тосковала по ее ласкам. А теперь уж и начинать было поздно.

Уйдя с солнца в зал, она через несколько ми-

---

[7] Примечания: 7

Крайстчерч — аристократический колледж в Оксфорде.

нут поняла, что совершила ошибку. Когда глаза привыкли к сумраку, она огляделась со скучающим любопытством, как могла бы оглядывать коллекцию серебра в музее Ашмола. Внезапно из темноты появился худой двадцатидвухлетний парень в очках, тоже оксфордский, имя которого она забыла, — и прицепился к ней. Без всяких предисловий он стал описывать последствия взрыва одной водородной бомбы над Оксфордом. Лет десять назад, когда им было тринадцать, он пригласил ее к себе домой на улице Парк-Таун, всего в трех кварталах от ее дома, чтобы полюбоваться новым изобретением, телевизором — первым в ее жизни. На маленьком, сером, мутном экране с резными, красного дерева дверцами человек в смокинге сидел за письменным столом, похоже застигнутый метелью. Флоренс решила, что это дурацкая игрушка, без будущего, но с тех пор парень — Джон? Дэвид? Майкл? — кажется, считал, что она должна с ним дружить, и вот опять взыскивал долг.

В его брошюрке, двести экземпляров которой он держал под мышкой, изображалась гибель Оксфорда. Он хотел, чтобы Флоренс помогла ему распространить ее по городу. Когда он наклонился, ее обдало запахом его крема для волос. Сухая

кожа отливала в тусклом свете желтизной, глаза, уменьшенные толстыми стеклами очков, походили на две черные щелки. Флоренс, не способная на грубость, изобразила лицом внимание. Было что-то завораживающее в высоких худых мужчинах: в том, как плохо прятались под кожей кости и кадык, в их хищной сутуловатости и птичьих лицах. Кратер, по его расчетам, будет восемьсот метров в ширину, а глубиной в тридцать. Из-за радиоактивности к Оксфорду нельзя будет подойти десять тысяч лет. Это звучало как окончательный приговор. А на самом деле снаружи прекрасный город утопал в листве раннего лета, солнце нагревало медовый котсуолдский известняк стен, луг колледжа Крайстчерч был в полном цвету. Здесь, в зале, за узким плечом молодого человека она видела двигавшихся в сумраке людей — они тихо разговаривали, расставляли стулья, — а потом увидела шедшего к ней Эдуарда.

Через много недель, тоже в жаркий день, они взяли ялик, поднялись по Черуэллу до паба «Вики армз», а потом спустились по течению обратно к лодочной станции. По пути они высадились около боярышника и лежали на берегу, в тени, Эдуард — на спине, жуя травинку, Флоренс — положив голову на его руку. Когда в разговоре

наступала пауза, они слушали, как пошлепывают волны по днищу лодки и сама она с приглушенным стуком натыкается на причальный пень. Иногда ветерок доносил с Банбери-роуд успокоительный, невесомый шум транспорта. Замысловато пел дрозд, старательно повторяя каждую фразу; потом смолк из-за жары. Эдуард работал на разных временных работах, по большей части ухаживал за площадкой в крикетном клубе. Флоренс все свое время отдавала квартету. Выкроить одновременно часы для встречи было не всегда легко, но тем они были драгоценнее. В тот раз они урвали для себя вторую половину субботнего дня. Они знали, что это последние дни зрелого лета — было уже начало сентября, и в листве, пока еще бескомпромиссно зеленой, чувствовалась усталость. Разговор вернулся к тому дню, уже обросшему частной мифологией, когда они впервые увидели друг друга.

На вопрос Эдуарда, заданный несколько минут назад, Флоренс наконец ответила:

— Потому что ты был без пиджака.

— А в чем?

— Мм… В свободной белой рубашке, рукава засучены до локтей, полы почти вылезли…

— Чепуха.

— И серые фланелевые брюки, зашитые на колене, потрепанные парусиновые туфли — вот-вот попросят каши. И длинные волосы, почти закрывали уши.

— Что еще?

— Потому что вид был встрепанный, как будто ты дрался.

— Утром ездил на велосипеде.

Она приподнялась на локте, чтобы лучше видеть его лицо, и они стали смотреть в глаза друг другу. Это было новое для них и головокружительное переживание — целую минуту смотреть без стеснения в глаза другому взрослому. Самое близкое к постели, что у нас было, подумал он. Она вытащила травинку у него изо рта.

— Настоящий деревенский пентюх.

— Ладно. Что еще?

— Хорошо. Потому что остановился в дверях и оглядывал всех, как хозяин. Гордо. Вернее, нагло.

Он рассмеялся.

— Я на себя досадовал.

— Потом ты увидел меня, — сказала Флоренс. — И решил сыграть со мной в гляделки.

— Неправда. Ты взглянула на меня и решила, что второго взгляда я не стою.

Она поцеловала его, не крепко, но игриво — так

ему показалось. Ходили легенды о девушках из хороших семей — что некоторые из них соглашаются легко и быстро; у него была слабая надежда, что она окажется одной из этих легендарных девушек. Но конечно, не на природе, не возле людной реки.

Он притянул ее к себе, так что они почти соприкоснулись носами и их лица оказались в тени.

— Значит, ты подумала тогда, что это любовь с первого взгляда?

Тон был легкомысленный и шутливый, но она решила отнестись к вопросу серьезно. Тяжелые ее тревоги были еще далеко впереди, но иногда она уже задумывалась, к чему это все ведет. С месяц назад они объяснились в любви друг к другу, это был восторг, а потом — для нее — еще и ночь полубессонницы, смутного ужаса от того, что повела себя импульсивно, чего-то важного не удержала, отдала что-то такое, чего не вправе отдавать. Но нельзя было устоять — это было так интересно, так ново, так лестно, такой бальзам на душу, такое освобождение — любить и говорить об этом, и хотелось все глубже в это погружаться. И теперь на берегу реки, в размаривающей жаре последних летних дней она сосредоточенно припоминала тот момент, когда он остановился

при входе в зал собрания, и что она увидела и почувствовала, посмотрев в его сторону.

Чтобы подстегнуть память, она отодвинулась, выпрямилась и перевела взгляд с его лица на ленивую, илистую, зеленую реку. Река вдруг перестала быть мирной. Выше по течению, спускаясь к ним, две перегруженные лодки изображали морской бой; они сошлись под прямым углом и, поворачиваясь, прошли излучину с обычным гиканьем, пиратскими выкриками и плеском. Студенты усердно чудили, и это лишний раз напомнило Флоренс, как ей хочется уехать отсюда. Еще школьницами она и ее подруги считали студентов мелкой напастью, придурковатыми оккупантами их родного города.

Она вспоминала дальше. Одет был необычно, но заметила она лицо — задумчивое, мягкий овал, высокий лоб, темные брови вразлет, спокойствие взгляда, обежавшего собрание и остановившегося на ней так, словно он был не в зале, а все это вообразил и ее нафантазировал. Память некстати подсунула то, чего нельзя еще было услышать, — чуть-чуть гнусавый деревенский выговор, слегка отличавшийся от местного оксфордского.

Она снова повернулась к нему:

— Мне стало любопытно.

На самом деле интерес был даже более абстрактным. Ей и в голову не пришло удовлетворить свое любопытство. Она не думала, что они познакомятся, что она может каким-либо образом этому поспособствовать. Как будто любопытство существовало отдельно от нее самой — это ее как будто не было в зале. Влюбленность открыла ей, насколько она странна, насколько закупорена в своих повседневных мыслях. Всякий раз, когда Эдуард спрашивал: «Что ты чувствуешь?» или «О чем ты думаешь?» — она затруднялась с ответом. Неужели ей так поздно открылось, что она лишена простой способности, которой обладают все, психического механизма, настолько обыкновенного, что о нем даже не упоминают, — непосредственного чувственного отклика на события и людей и на свои собственные потребности и желания? Все эти годы она жила изолированно внутри себя и, как ни странно, — от себя, не желая или не смея оглянуться. В гулком зале с каменным полом и низкими, тяжелыми кровельными балками ее трудности с Эдуардом обозначились уже тогда, в первые секунды, едва только они встретились глазами.

Он родился в июле 1940 года, в ту неделю, когда началась битва за Британию. Его отец, Лайонел,

скажет ему впоследствии, что тогда на два месяца история затаила дыхание, решая, будет ли первым языком Эдуарда немецкий. К десятому дню рождения он выяснил, что это была лишь фигура речи — в оккупированной части Франции, например, дети продолжали говорить по-французски. Тёрвилл-Хит даже не был деревней — горстка коттеджей, разбросанных вокруг леса и общинного выгона на широкой гряде над поселком Тёрвилл. В конце тридцатых годов северо-восточный край Чилтернских холмов — лондонский край — подвергся городскому натиску и превратился в пригородный эдем. А юго-западная часть, к югу от холма Бикон-хилл, где в один прекрасный день меловую гряду прорежет шоссе и по нему устремится поток машин к Бирмингему, — эта часть оставалась более или менее нетронутой.

Недалеко от коттеджа Мэйхью, если спуститься по ухабистой дороге через буковый лес, за фермой Спинни, лежит долина Уормсли, потаенная жемчужина, как выразился один проезжий автор, — она веками принадлежала одной фермерской семье, Фейнам.

В 1940 году Мэйхью все еще пользовались колодцем; воду оттуда носили на чердак и наливали в бак. В семье сохранилось предание о том, что в

начале войны, когда страна готовилась отразить гитлеровское нашествие, местные власти сочли рождение Эдуарда чрезвычайной ситуацией, гигиеническим кризисом. Явились люди с кирками и лопатами, довольно пожилые люди, и в сентябре, как раз когда начались бомбежки Лондона, водопроводную воду от Нортэндской дороги подвели к дому.

Лайонел Мэйхью был директором начальной школы в Хенли. Рано утром он садился на велосипед и проезжал восемь километров до работы, а в конце дня вел велосипед вверх по длинному крутому склону холма к Хиту, с тетрадями для проверки, сложенными в корзину на руле. В 1945 году, когда родились сестры-близняшки, он купил в поселке Кристмас-Коммон подержанный автомобиль — купил за одиннадцать фунтов у вдовы морского офицера, погибшего в атлантическом конвое. Тогда он был еще редким зрелищем — автомобиль на этих узких меловых дорогах, протискивающийся мимо повозок и лошадей. Но из-за нормирования бензина Лайонелу приходилось надолго пересаживаться на велосипед.

В начале пятидесятых его домашний режим был нетипичен для работника умственного труда. Он сразу вносил тетради в крохотную ком-

нату у входной двери, служившую кабинетом, и аккуратно складывал. Это была единственная прибранная комната в доме, и ему важно было оградить свою работу от домашней среды. Затем он наведывался к детям — Эдуард, Анна и Гарриет ходили в деревенскую школу в Норт-энде и домой возвращались сами. Потом несколько минут проводил наедине с Марджори, после чего отправлялся на кухню готовить чай и убирать со стола после завтрака.

Домашние работы производились только в этот час, пока готовился ужин. Когда дети подросли, они стали помогать, но без особого толку. Подметались только участки пола, свободные от барахла, и в порядок приводились только вещи, нужные на завтра, — главным образом одежда и книги. Постели никогда не убирались, простыни менялись редко, раковина в промозглой, загроможденной ванной никогда не чистилась — на твердом сером налете можно было ногтем вырезать свое имя. Достаточно трудно было справиться с неотложными нуждами — принести уголь для кухонной плиты, зимой поддерживать огонь в камине в общей комнате, найти детям не совсем грязную одежду для школы. Стирка происходила во второй половине дня по воскресеньям,

для этого надо было развести огонь под медным котлом. В дождливые дни стираные вещи развешивались на мебели по всему дому. Глаженье Лайонелу было не под силу — все разглаживалось ладонью и складывалось. Случались интерлюдии, когда кто-нибудь из соседок помогал по дому, но надолго никто не задерживался. Слишком широк был фронт работ, а этим местным дамам приходилось заботиться еще и о своих семьях.

Мэйхью ужинали за раздвижным сосновым столом, теснимые со всех сторон наступающим хаосом кухни. Мытье посуды оставляли на потом. После того как каждый благодарил Марджори за еду, она возвращалась к очередному своему проекту, дети расчищали стол, выкладывали на него учебники и принимались за уроки. Лайонел уходил в свой кабинет проставлять отметки, заниматься административными бумагами и с трубкой в зубах слушать известия по радио. Часа через полтора он выходил проверить, как дела у ребят, и отправлял спать. Он всегда им читал, причем разное девочкам и Эдуарду. Часто они засыпали под звяканье посуды, которую он мыл внизу.

Он был мягкий человек, кряжистого сложения, как сельскохозяйственный рабочий, светло-ру-

сый в рыжину, с молочно-голубыми глазами и короткими, военного образца усами. Возраста он был уже не призывного — Эдуард родился, когда ему было тридцать восемь лет. Лайонел редко повышал голос, не шлепал и не порол детей в отличие от большинства отцов в то время. Он ожидал послушания, и дети, вероятно понимая, как он обременен заботами, подчинялись. Свои семейные обстоятельства они, естественно, воспринимали как данность, хотя достаточно часто бывали в домах у друзей и видели заботливых мамаш в фартуках и свирепый порядок в их владениях. Эдуарду, Анне и Гарриет не приходило в голову, что им меньше повезло, чем их друзьям. Ношу эту нес один Лайонел.

Только в четырнадцать лет Эдуард вполне понял, что с матерью что-то неладно, и он не помнил то время, когда она резко изменилась, — ему тогда было около пяти. И у него, и у сестер с возрастом пришло будничное осознание того, что она помешанная. Она была призрачным существом, худым и кротким эльфом с взъерошенными каштановыми волосами, рассеянно проходившим по дому и так же рассеянно сквозь их детство, — иногда общительная и даже нежная, а иногда отсутствующая, погруженная в свои

любимые занятия и проекты. Во всякое время дня и даже в полночь можно было услышать, как она ощупью пробирается по одним и тем же простым фортепьянным пьескам, всегда сбиваясь в одних и тех же местах. Она часто выходила в сад и копалась в бесформенной клумбе, которую разбила прямо посредине узкой лужайки. Живопись — преимущественно акварели с далекими холмами и церковным шпилем в обрамлении деревьев на переднем плане — сильно добавляла к общему беспорядку. Марджори никогда не мыла кисти, не выливала зеленую воду из банок от варенья, не убирала краски и тряпки, не собирала свои картины — всегда незаконченные. В рабочем халате она могла ходить целыми днями, хотя приступ живописи давно закончился. Еще одним занятием — когда-то его могли бы назвать трудовой терапией — было вырезание картинок из журналов и наклеивание в альбом. Во время работы она любила перемещаться по дому, и отброшенные вырезки валялись всюду под ногами, втоптанные в грязь на дощатом полу. Кисточки для клея твердели в открытых банках, оставленных на стульях и подоконниках.

Среди других увлечений Марджори было наблюдение за птицами из окна общей комнаты,

вязание, вышивание и составление букетов, которым она предавалась с такой же мечтательной хаотической страстью. По большей части — молча, но иногда они слышали, как она бормочет, справляясь с особенно трудной задачей: «Так… так… так».

Эдуарду никогда не приходило в голову задаться вопросом, счастлива ли она. У нее определенно бывали тревожные периоды, приступы паники, когда она дышала отрывисто, а ее тонкие руки поднимались и опускались вдоль боков и она вдруг устремляла внимание на детей, на какую-то конкретную их нужду, которую она должна безотлагательно удовлетворить. У Эдуарда отросли ногти, надо зашить порванное платье, сестер пора выкупать. Она спускалась с ними, бестолково суетилась, ругалась на них или, наоборот, обнимала, целовала в щеки, иногда — и то и другое одновременно, наверстывая упущенное время. Это было почти похоже на любовь, и они с удовольствием поддавались. Но знали по опыту, что реалии домашнего уклада враждебны ее планам: маникюрные ножницы и нитки нужного цвета не найдутся, а греть воду для ванны надо несколько часов. Вскоре мать отплывала восвояси, в свой отдельный мир.

Эти порывы, возможно, были вызваны какими-то фрагментами ее прежней личности, пытающейся восстановить контроль, наполовину сознающей характер ее нынешнего состояния, смутно вспоминающей прежнее существование и внезапно, с ужасом прозревающей масштаб утраты. Но бóльшую часть времени Марджори довольствовалась представлением, а вернее, сложно сочиненной сказкой, что она преданная жена и мать, что в хозяйстве все идет гладко благодаря ее хлопотам, что она имеет право посвятить немного времени своим делам, после того как выполнила все обязанности. Чтобы свести к минимуму тревожные минуты и не бередить этот остаток бывшего ее сознания, Лайонел и дети подыгрывали ее фантазиям. В начале трапезы она могла поднять глаза от тарелки со стряпней мужа и, отодвинув со лба непослушные волосы, нежно произнести: «Надеюсь, вам это понравится. Я хотела придумать что-то новое».

Это всегда было что-то старое — репертуар Лайонела не отличался разнообразием, но никто ей не возражал, а после еды дети и их отец ритуально ее благодарили. Эта фантазия устраивала всех. Когда Марджори объявляла, что составляет список покупок для рынка в Уотлингтоне или

что ей предстоит перегладить уйму простыней, перед семьей открывался параллельный мир ясной нормальности. Но фантазию можно было поддерживать только при том условии, что она не обсуждалась. Они росли внутри ее, обитали среди ее нелепостей, потому что нелепости не были обозначены как таковые.

Каким-то образом они оберегали Марджори от друзей, которых приводили в дом, и от нее друзей оберегали. По общему мнению местных — во всяком случае, другого они не слышали, — миссис Мэйхью была художественной натурой, эксцентричной и очаровательной, возможно гением. Детей не смущало, когда они слышали от матери то, что не могло быть правдой. Не было у нее на целый день работы невпроворот, не варила она весь вечер варенье из ежевики. Это была не ложь, это было выражение ее истинной сущности, и они обязаны были оберегать ее — молчанием.

И когда четырнадцатилетний Эдуард, оставшись наедине с отцом в саду, впервые услышал, что у матери повреждение мозга, эти несколько минут запомнились ему навсегда. Слова были оскорбительны — кощунственное приглашение к измене. *Повреждение мозга*. Голова не в порядке. Если бы кто-то другой сказал это о матери,

Эдуарду пришлось бы затеять драку и избить обидчика. Но, слушая враждебно и молча эту клевету, он чувствовал, что с души его спадает тяжесть. Конечно, это была правда, и он не мог сражаться с правдой. И сразу же начал убеждать себя, что всегда это знал.

Был жаркий, влажный день в конце мая; они с отцом стояли под большим вязом. После дождливых дней воздух напитался изобилием раннего лета — гомоном птиц и насекомых, запахом скошенной травы, рядами лежащей на лужайке перед домом, зеленью прущей, рвущейся вверх чащи сада, почти неотделимого от лесной опушки за штакетником, пыльцой, принесшей начало сенной лихорадки отцу и сыну; а на траве у них под ногами пятна солнечного света и тени качались от легкого ветерка. В этой обстановке Эдуард слушал отца и пытался вообразить декабрьский день морозной зимы 1944 года, людную железнодорожную платформу в Уикоме и мать, закутанную в пальто, с сумкой бедных военных подарков к Рождеству. У края платформы она ждала поезд из Лондона, чтобы ехать через Принсес-Ризборо в Уотлингтон, где ее должен был встретить Лайонел. А дома за Эдуардом присматривала дочка соседа, школьница.

Есть такой тип самоуверенного пассажира, который любит открыть дверь вагона еще до остановки поезда, соскочить на платформу и пробежать несколько шагов по инерции. Может быть, покидая поезд на ходу, он утверждает свою независимость — он, мол, не какой-то там пассивный тюк или чемодан. А может, он хочет тряхнуть молодостью или же так торопится, что каждая секунда дорога. Поезд тормозил, возможно, чуть резче обычного, пассажир не удержал дверь. Тяжелый железный край ее ударил Марджори Мэйхью в лоб с такой силой, что проломил череп и в одно мгновение нарушил ее личность, ум и память. Почти неделю она пролежала в коме. Пассажир, по описанию свидетелей, почтенного вида городской джентльмен лет шестидесяти с лишним, в котелке, со сложенным зонтиком и газетой, сбежал с места происшествия, оставив лежать на платформе среди нескольких рассыпавшихся игрушек беременную двойней молодую женщину, и навсегда исчез на улицах Уикома с неизбывным, как надеялся Лайонел, бременем вины.

Этот странный эпизод в саду — поворотный пункт в жизни Эдуарда — оставил у него особое воспоминание об отце. Отец держал в руке

трубку, но раскурил ее, только закончив рассказ. Держал с очевидным намерением закурить: указательный палец обнимал чашку, мундштук находился сантиметрах в тридцати от уголка рта. По случаю воскресенья Лайонел не побрился; он не был верующим, но в школе все формальности соблюдал. Не бреясь по воскресеньям — что для человека в его должности было чудачеством, — он намеренно отмежевывался от каких бы то ни было общественных обязательств. На нем была мятая белая рубашка без воротничка, даже рукой не разглаженная. Говорил он сдержанно, даже слегка отстраненно — по-видимому, всю беседу мысленно отрепетировал заранее. Время от времени он переводил взгляд с лица Эдуарда на дом, как будто хотел точнее представить себе состояние Марджори или посмотреть, где девочки. Под конец он положил руку Эдуарду на плечо и так прошел с ним последние несколько шагов до края сада, где покосившийся забор почти исчез под наступавшим кустарником. Дальше начинался луг без овец, два гектара, завоеванные лютиками, которые разбежались по нему двумя расходящимися полосами, как дорожками.

Они стояли бок о бок, Лайонел наконец закурил, а Эдуард с пластичностью его возраста спокойно

переходил от потрясения к осознанию. Понимал он, конечно, всегда. А в состоянии неведения пребывал только из-за того, что не было термина для ее нездоровья. Он даже никогда не думал, что она нездорова, однако для него было очевидно, что она не такая, как все. Теперь это противоречие разрешилось благодаря простому наименованию, способности слов сделать невидимое видимым. *Повреждение мозга.* В этих словах растворялась близость, они холодно оценивали мать по общественным меркам, понятным каждому. Внезапно стала открываться полынья — не только между Эдуардом и матерью, но и между ним и его непосредственными обстоятельствами, и он ощутил, как собственное бытие, скрытое ядро его, которому он никогда прежде не уделял внимания, вдруг жестко определилось, стало светящейся точкой, и он никому не хотел ее показывать. У матери поврежден мозг, а у него — нет. Он не мать, он не семья, и однажды он покинет дом и вернется только гостем. Он вообразил, что он сейчас гость и встретился с отцом после долгого пребывания за морем и вместе они глядят на поле с широкими дорожками лютиков, расходящимися перед пологим спуском к лесу. Эта проба принесла ощущение одиночества и какой-то вины, но вместе с

тем сама ее дерзость была волнующей.

Лайонел как будто понял, что скрывается за молчанием сына. Он сказал, что Эдуард замечательно относился к матери, всегда был ласков и готов помочь и что этот разговор ничего не меняет. Это значит только, что Эдуард уже достаточно взрослый и вправе знать факты. Тут в сад выбежали сестры — они искали брата, — и Лайонел успел только повторить: «То, что я сказал, ничего не меняет, совершенно ничего». Сестры подбежали, галдя, и потянули Эдуарда в дом — узнать его мнение о какой-то своей выдумке.

Но в это время для него вообще многое менялось. Он учился в классической школе в Хенли и уже слышал от разных учителей, что ему «дорога в университет». Его друг Саймон в Нортэнде и остальные поселковые ребята из компании ходили в современную среднюю школу и вскоре должны были оставить ее и учиться ремеслу или работать на ферме, пока их не призовут в

армию.[8] Эдуард надеялся на другое будущее. Уже сейчас в отношениях с друзьями была некоторая скованность как с их стороны, так и с его. Количество домашних заданий росло — а Лайонел при всей его мягкости был в этом отношении тираном, — и после школы Эдуард уже не мог бродить с ребятами по лесу, устраивать лагеря, ставить силки и досаждать егерям в поместьях Уормсли и Стонора. В маленьких городках вроде Хенли тоже есть свой городской снобизм, и он учился скрывать, что знает имена бабочек, птиц и диких цветов, растущих в укромной долине под их домом, на родовых землях Фейнов, — колокольчика, короставника, цикория, десятка видов ятрышника, и дремлика, и редкого летнего белоцветника. В школе с такими познаниями недолго зарекомендовать себя деревенщиной.

От того, что он узнал о несчастном случае с матерью, внешне ничего не изменилось, но все неуловимые сдвиги и перемены в жизни как

---

[8] Примечания: 8

Он учился в классической школе в Хенли и уже слышал от разных учителей, что ему «дорога в университет». Его друг Саймон в Нортэнде и остальные поселковые ребята из компании ходили в современную среднюю школу и вскоре должны были оставить ее и учиться ремеслу или работать на ферме, пока их не призовут в армию. — Классическая средняя школа (здесь государственная) — с академической направленностью и изучением классических языков. Современная средняя школа — государственная, имеет практическую направленность.

будто кристаллизовались в этом новом знании. Он был внимателен и ласков с ней, продолжал поддерживать легенду, будто на ней держится дом и все, что она говорит, так и есть, но теперь он сознательно играл роль и тем самым упрочнял новооткрытое тугое ядрышко самости. В шестнадцать лет он полюбил долгие, задумчивые прогулки. Вне дома яснее думалось. Он часто уходил по Холланд-лейн, меловой дороге в углублении между крошащимися замшелыми склонами, спускался к Тёрвиллу, а потом по долине Хамблден шел к Темзе, пересекая у Хенли возвышенность Беркшир-даунс. Слово «тинейджер» было изобретено не так давно, и ему не приходило в голову, что ощущение отдельности, и мучительное, и сладостное, может испытывать кто-то другой.

Не спросившись и даже не предупредив отца, он поехал автостопом в Лондон на митинг против Суэцкого вторжения.[9] Там, на Трафальгарской площади, в минуту душевного подъема он решил не подавать в Оксфорд, куда его налаживал отец

---

[9] Примечания: 9

...митинг против Суэцкого вторжения. — В 1956 г. Египет объявил о национализации Суэцкого канала. В ответ Британия и Франция послали в зону канала войска, но под давлением ООН (и прежде всего США) вынуждены были в том же году их отозвать. Хрущев даже пригрозил ядерной бомбой.

и учителя. Город был слишком знакомый, недостаточно отличался от Хенли. Он приедет сюда, где люди кажутся больше и ярче, где они непредсказуемы, а знаменитые улицы нисколько не озабочены собственной важностью. Он держал в секрете свой план, не желал заранее вызывать противодействие. Кроме того, он намеревался избежать воинской службы, хотя Лайонел решил, что она пойдет ему на пользу. В этих замыслах рельефнее становилось ощущение скрытого «я», тугого узла чувствительности, томления и эгоизма. В отличие от некоторых ребят в школе он не питал отвращения к своей семье и дому. Тесноту и запущенность комнат он воспринимал как должное, состояние матери его по-прежнему не смущало. Ему просто не терпелось начать *свою* жизнь, настоящую, а мир был устроен так, что начаться она не могла, пока он не сдаст экзамены. И он занимался усердно, сдавал хорошие сочинения, особенно учителю истории. Был дружелюбен с сестрами и родителями и продолжал мечтать о дне, когда покинет дом в Тёрвилл-Хите. Но в каком-то смысле он его уже покинул.

ГЛАВА 3

В спальне Флоренс отпустила руку Эдуарда и, прислонясь к одному из четырех дубовых столбов, поддерживавших балдахин, нагнулась сперва направо, потом налево, каждый раз красиво опуская плечо, — сняла туфли. Эти послесвадебные туфли она купила как-то дождливым склочным днем в «Дебенемз» — Виолетту магазины угнетали, и она их обычно избегала. Туфли были из мягкой голубой кожи, с низким каблуком и маленьким, более темным бантиком на подъеме. Движения были неторопливы — тактика проволочек, но она обязывала еще больше. Флоренс видела, с каким упоением смотрит на нее муж, но сама пока что не ощущала такого волнения или такой неотложности. Войдя в спальню, она погрузилась в неприятное полусонное состояние, стеснявшее ее, как водолазный скафандр на глубине. Мысли ее казались чужими мыслями — их закачивали ей, как воздух через шланг.

И где-то на задах слуховой памяти смутно звучала простая, величавая музыкальная фраза — она сопровождала ее до постели и там снова

возникла, когда она взяла в обе руки по туфле. Знакомая фраза — кто-то, быть может, назвал бы ее знаменитой, — она состояла из четырех восходящих нот, как будто заключавших в себе неуверенный вопрос. Поскольку инструментом была виолончель, а не ее скрипка, спрашивавший был не ею, а сторонним наблюдателем, несколько удивленным, но настойчивым, потому что после короткого молчания и запоздалого неубедительного ответа других инструментов виолончель опять задавала вопрос, другим тоном, в другом ключе, а потом снова и снова и всякий раз получала сомнительный ответ. Никаких слов под эти ноты Флоренс не могла подложить; звучавшее не говорилось. Вопрошание без содержания — чистое, как вопросительный знак.

Это было начало моцартовского квинтета, предмета разногласий между Флоренс и ее друзьями, потому что для его исполнения надо было привлечь еще одного альтиста, а они не хотели лишних сложностей. Но Флоренс настаивала, и, когда она пригласила на репетицию подругу из коридора и они сыграли весь квинтет с листа, тщеславный виолончелист, естественно, увлекся музыкой, а вскоре и остальные подпали под ее обаяние. Да кто бы устоял? Если первая фраза

ставила под вопрос сплоченность Эннисморского квартета — названного по адресу женского общежития, — то ответом на него была решимость Флоренс перед лицом оппозиции, одной против трех, и твердая уверенность в собственном хорошем вкусе.

Когда она шла по спальне, по-прежнему спиной к Эдуарду, по-прежнему затягивая время, и аккуратно ставила туфли на пол перед гардеробом, четыре вопросительные ноты напомнили ей и об этой, другой стороне ее характера. О той Флоренс, которая руководила квартетом, спокойно навязывала свою волю и никогда бы не стала покорно оправдывать чьи-то банальные ожидания. Она не ягненок, чтобы без жалоб идти на заклание. Или мириться с проникновением. Она спросит себя, чего именно она хочет и чего не хочет от брака, и выскажет это открыто Эдуарду, рассчитывая, что будет найден какой-то компромисс. Ведь не могут ни он, ни она удовлетворять свои желания за счет другого. Весь смысл в том, чтобы любить и дать другому свободу. Да, ей надо высказаться, так же как на репетициях, и выскажется она сейчас. В голове у нее уже складывалось предложение, которое она сделает. Губы у нее раскрылись, она набрала в грудь воздуха. Потом, услышав скрип

половицы, обернулась: он шел к ней, улыбался, его красивое лицо слегка порозовело, и мысль об освобождении — будто и не совсем ее была мысль — исчезла.

Послесвадебное платье, легкое, летнее, хлопчатобумажное, василькового цвета, прекрасно гармонировало с туфлями и обнаружено было в результате многих часов хождения между Риджент-стрит и Мраморной аркой, к счастью без матери. Эдуард обнял Флоренс, но не для того, чтобы поцеловать, а для того, чтобы сначала прижать ее тело к своему, а затем положить руку ей на затылок и нащупать молнию на этом платье. Другая его ладонь была плотно прижата к ее пояснице, и он шептал ей в ухо, так близко и так громко, что она слышала только шум теплой влажной струи воздуха. Но одной рукой невозможно было расстегнуть молнию — во всяком случае, первые два или три сантиметра. Надо было другой рукой держать ворот платья, иначе тонкая материя скомкается и молния застрянет. Она сама завела бы руку за плечо, чтобы помочь, но руки ее были зажаты, и, кроме того, было бы бестактно показывать ему, как действовать. Больше всего она боялась обидеть его. С резким вздохом он дернул замок посильнее, но тот уже

застрял так, что не двигался ни вниз ни вверх. Теперь Флоренс оказалась пленницей платья.

— Господи, Фло, постой же минуту спокойно.

Она послушно замерла, ужаснувшись волнению в его голосе и автоматически сочтя себя виновной. В конце концов, это ее платье, ее молния. Она подумала, что проще было бы освободиться из его рук, повернуться спиной и подойти к окну, где светлее. Но это могло показаться равнодушием, а перерыв подчеркнет размеры затруднения. Дома ей помогала сестра с ее ловкими, несмотря на их беспомощность за роялем, пальчиками. У матери не было терпения на мелочи. Бедный Эдуард; она чувствовала плечами, как дрожат от напряжения его руки — теперь он пустил в ход обе, — и представляла себе, как его толстые пальцы борются со складками материи и упрямой застежкой. Она жалела его, но и немного боялась. Если даже робко что-то предложить, он может еще больше рассердиться. Поэтому она терпеливо стояла, пока он сам не отпустил ее со стоном и не отступил на шаг. На самом же деле он раскаивался.

— Прости, пожалуйста. Позор. Какой же я неуклюжий.

— Милый, у меня самой часто застревает.

Они подошли к кровати и сели рядом. Он улыбнулся, показывая, что не поверил ей, но благодарен за утешение. Здесь, в спальне, распахнутые окна смотрели на ту же лужайку перед гостиницей, на лесок и море. Внезапная перемена ветра или же проходящее судно пригнали несколько волн, одна за другой громко шлепнувших о берег. Потом, так же внезапно, волны снова ослабли и оглаживали косу, тихо позванивая галькой.

Она обняла его за плечи:

— Хочешь узнать секрет?

— Да.

Двумя пальцами она взяла его за мочку уха, нежно притянула к себе его голову и прошептала:

— Знаешь, я немножко боюсь.

Это было не совсем точно, но, при всей своей вдумчивости, она ни за что не смогла бы описать переплетения своих чувств: физического ощущения сухого, тугого стягивания, отвращения к тому, что от нее может потребоваться, стыда оттого, что она его разочарует, покажет себя фальшивкой. Она себе не нравилась, и, когда шептала ему, ей показалось, что слова выходят с шипением, как у сценического злодея. Но лучше говорить, что боишься, чем признаться, что чув-

ствуешь отвращение и стыд. Надо было любым способом умерить его ожидания.

Эдуард смотрел на нее, и по лицу его нельзя было понять, слышал он ее или нет. Даже в затруднительном своем положении она восхищалась его ласковыми карими глазами. Сколько доброго ума и всепрощения. Может быть, если бы она смотрела только в эти глаза и больше ни на что, тогда, наверное, смогла бы сделать все, о чем он ни попросит. Доверилась бы ему целиком. Но это была фантазия.

Наконец он сказал:

— По-моему, я тоже.

При этих словах его рука легла ей на ногу над коленом, скользнула под подолом платья вверх и остановилась на внутренней стороне бедра, там, где большой палец уже касался трусов. Ноги у нее были голые, гладкие и смуглые — она загорала в саду, играя в теннис со школьными подругами на кортах Саммер-тауна и во время двух долгих пикников с Эдуардом на поросшей цветами поляне над красивым селением Юэлм, где похоронена внучка Чосера. Они продолжали смотреть друг другу в глаза — в этом они поднаторели. Она настолько остро ощущала его прикосновение, липкую тяжесть ладони на своей коже, что могла

вообразить — буквально *видела* — его длинный выгнутый большой палец, терпеливо замерший в голубом полумраке под платьем, как осадная машина перед стенами города, и ровно подстриженный ноготь, который достал уже до кремового шелка, собранного крохотными складочками вдоль кружевной каймы, и касается — она была уверена в этом, ясно это ощущала — выбившегося оттуда курчавого волоса.

Она очень старалась, чтобы мышца бедра не напряглась, но это происходило помимо ее воли, самопроизвольно и неодолимо, как чихание. Мышцу стянуло, началась легкая судорога, не болезненная, но Флоренс чувствовала, что это выдает ее, этот первый признак того, насколько затруднительно ее положение. Он, конечно, ощущал какую-то маленькую бурю под своей ладонью; глаза у него чуть расширились, брови приподнялись, беззвучно раскрылись губы — он был поражен и даже благоговел перед ней, приняв ее смятение за пылкую готовность.

— Фло?..

Он произнес ее имя осторожно, с повышением голоса, словно желая придать ей твердости, отговорить от какого-то опрометчивого действия. Но ему приходилось сдерживать маленькую бурю

в себе самом. Дышал он часто и неровно и то и дело отделял язык от нёба с мягким, липким чмоканьем.

Бывает стыдно за тело, когда оно не хочет или не может солгать о наших чувствах. Ради декорума кто-нибудь когда-нибудь смог замедлить сердцебиение, потушить румянец? Ее непокорная мышца трепетала под кожей, как пленный мотылек. Иногда такая неприятность у нее случалась с верхним веком. Но кажется, маленькая буря затихала. Это позволило ей сосредоточиться на главном, и она сформулировала про себя главное с глупой ясностью: его рука там потому, что он ее муж; она позволяет руке там быть потому, что она его жена. Некоторые ее подруги — в особенности Грета, Гермиона, Люси — давно бы лежали голые под простыней, а в интимные отношения вступили бы — шумно и радостно — задолго до свадьбы. В своем великодушии, любя ее, они вообразили, что она именно так и поступила. Она никогда им не лгала, но и правды не открывала. Думая о подругах, она ощущала особый, только ей внятный аромат своего существования: она была одна.

Рука Эдуарда не продвигалась — возможно, его самого испугала собственная смелость, — рука

подрагивала на одном месте и тихонько мяла ляжку. Может быть, поэтому ослабевал спазм, да она уже и не обращала на него внимания. Наверное, это было случайностью — Эдуард не мог знать, что, когда он щупает ее ногу, кончик его большого пальца толкает одинокий волос, выпроставшийся из трусов, качает его туда и сюда, тревожит корень, шлет сигнал по нерву в волосяном мешочке — всего лишь тень ощущения, почти абстрактное начало, бесконечно малое, как геометрическая точка, выросшая в махонькую крапинку с ровными краями и продолжавшая набухать. Флоренс сомневалась в этом, не желала признать, однако чувствовала, что поддается, внутренне стягивается к этому месту. Как может корень одинокого волоска увлечь за собой все тело? Под мерной ритмической лаской его ладони единственная точка ощущений распространялась по ее коже — на живот и оттуда импульсами вниз, в промежность. Чувство не было совсем незнакомым — что-то среднее между болью и зудом, но мягче, теплее и как-то пустее, приятная, слегка болезненная пустота, истекающая из ритмически раздражаемого волосяного мешочка, круговыми волнами расходящаяся по телу, а теперь и движущаяся в глубину.

Впервые ее любовь к Эдуарду соединилась с отчетливым физическим ощущением, несомненным, как головокружение. Прежде был только успокоительный бульон теплых чувств, толстое зимнее одеяло нежности и доверия. Этого всегда казалось достаточно — это было достижение само по себе. Теперь наконец забрезжило желание, определенное и чуждое, но безусловно *ее,* а отдельно, словно повисшее где-то над ней и позади нее почти бессознательное, — облегчение, что она такая же, как все. Похожее открытие случилось у нее в четырнадцать лет: она развивалась замедленно и была в отчаянии оттого, что у всех ее подруг есть грудь, а сама она выглядит как девятилетняя великанша, — и вот как-то вечером перед зеркалом впервые обнаружила и потрогала тугие выпуклости вокруг сосков. Если бы мать внизу не готовила лекцию о Спинозе, Флоренс закричала бы от восторга. Она не какой-то особый подвид человека. Ура, она принадлежит к большинству!

Они с Эдуардом по-прежнему смотрели друг другу в глаза. Разговор был невозможен. Она отчасти притворялась, что ничего не происходит — что его рука у нее не под платьем, что его большой палец не толкает туда и сюда отбившийся

лобковый волосок, что не произошло у нее капитального чувственного открытия. За головой Эдуарда открывался вид на далекое прошлое — на открытую дверь и обеденный стол перед стеклянными дверьми, на мусор несъеденного ужина, — но она не позволяла себе перевести туда взгляд. Несмотря на приятные ощущения и радостное открытие, ее не покидало дурное предчувствие; страх — высокая стена, которую не просто было снести. Да она к этому и не стремилась. При всей новизне, до самозабвения дело не дошло, и она не хотела, чтобы ее к этому подталкивали. Она хотела продлить неторопливые мгновения — в одежде, под мягким взглядом карих глаз, с нежной лаской и зарождением трепета в теле. Но знала, что это невозможно, — все говорили ей, что одно потянет за собой другое.

Лицо Эдуарда по-прежнему было необычно розовым, зрачки расширены, губы раскрыты, и дышал он по-прежнему часто и неровно. Недельная подготовка к свадьбе, остервенелое воздержание тяжело сказывались на молодой химии его тела. Такая любимая, такая живая — и он не совсем знал, что ему делать. Смеркалось, голубое платье, которое он не сумел снять, темноватым пятном выделялось на белом, туго

натянутом покрывале. Когда он дотронулся до внутренней стороны ее бедра, кожа оказалась на удивление прохладной, и почему-то это сильно его возбудило. Он смотрел ей в глаза, и у него было такое чувство, что он валится на нее в непрекращающемся, головокружительном падении. С одной стороны, его гнало вперед возбуждение, с другой — останавливала неопытность. Если не считать фильмов, похабных анекдотов и диких россказней, главным источником его знаний о женщинах была как раз Флоренс. Волнение у него под ладонью вполне могло быть ясным сигналом, и, наверное, любой мог бы объяснить ему, что оно означает и что надо в связи с этим предпринять. Оно могло быть, например, каким-то предвестием женского оргазма. Или же просто нервами. Понять было невозможно, и ему стало легче, когда под ладонью немного утихло. Он вспомнил, как однажды на широком кукурузном поле возле Юэлма он сидел в комбайне на месте водителя, похваставшись перед фермером, что умеет управлять, — и не осмеливался тронуть ни один рычаг. Попросту, он слишком мало знал. С одной стороны, она сама повела его в спальню, сняла туфли с такой непринужденностью, позволила ему держать руку так близко. С другой

стороны, он знал по долгому опыту, как легко одно опрометчивое движение может подорвать его шансы. Опять-таки, пока рука его оставалась на месте и щупала ее ногу, Флоренс продолжала смотреть на него призывно: четкие черты ее смягчились, глаза сузились, потом широко раскрылись, чтобы встретить его взгляд, голова слегка откинулась — все это показывало, что осторожность его абсурдна. Его сомнения — это его сумасшествие. Они женаты, черт возьми, и она его подбадривает, подталкивает, хочет, чтобы он взял на себя инициативу. Однако он не мог отделаться от воспоминаний о тех случаях, когда неправильно понял сигналы — в особенности тогда, в кино на «Вкусе меда», когда она выскочила из своего кресла в проход, как испуганная газель. Ошибку пришлось исправлять потом неделями — он боялся повторения такой катастрофы и не верил, что сорокапятиминутная церемония венчания может кардинально все изменить.

Воздух в комнате казался разреженным, невещественным, и дыхание требовало сознательных усилий. На него напала нервная зевота; чтобы подавить ее, он хмурил лоб и раздувал ноздри — не хватало еще, чтобы она подумала, будто ему скучно. Его ужасно огорчало, что их первая

ночь получилась непростой, хотя любовь их так открыта. Собственное состояние — возбужденности, неискушенности и нерешительности — представлялось ему опасным, потому что он не доверял себе. Помнил, что способен повести себя глупо и даже вспылить. Среди университетских приятелей у него была репутация тихого парня, иногда впадающего в буйство. По словам отца, в самом раннем детстве он часто закатывал скандалы. В школьные годы и в колледже его, случалось, увлекала дикая свобода драки. На пятачке ли посреди школьного двора, в кольце вопящих зрителей, в торжественных ли поединках на лесной поляне, в мордобое перед пабами в центре Лондона — Эдуард находил в драках волнующую непредсказуемость, открывал в себе стихийность решительного человека, который отсутствовал в остальной его — мирной — жизни. Он никогда не искал столкновений, но если они возникали, некоторые их составляющие — обмен насмешками и оскорблениями, оттаскивающие друзья, неистовство противника — были неодолимым искушением. Иногда у него как будто исчезало периферическое зрение, он глох и проваливался в другой мир, к забытому удовольствию, словно в повторяющийся сон. Как и со студенческими

попойками, боль приходила потом. Он не был выдающимся боксером, но обладал полезным даром физической отваги и с легкостью поднимал ставки. К тому же он был силен.

Флоренс никогда не видела его в бешенстве, и он не собирался ей об этом рассказывать. Он не дрался уже полтора года — с января 1961-го, со второго семестра последнего курса. Это была игра в одни ворота и необычная в том смысле, что у Эдуарда имелась причина и некоторое оправдание. Он шел по Олд-Комптон-стрит к «Французскому пабу» на Дин-стрит с другим историком-третьекурсником, Гарольдом Мадером. Был ранний вечер, и шли они из библиотеки на Малет-стрит, чтобы встретиться с приятелями. В школе у Эдуарда Мадер был бы вечной жертвой — маленький, едва ли метр шестьдесят пять, в толстых очках, с комическим, сплющенным лицом и до осатанения болтливый и умный. В университете, однако, он процветал, был весьма уважаемой фигурой. У него была солидная коллекция джазовых пластинок, он редактировал литературный журнал, его рассказ принял, но еще не напечатал журнал «Энкаунтер», он всех веселил на серьезных дебатах студенческого союза и был хорошим пародистом — изображал

Макмиллана, Гейтскелла, Кеннеди, Хрущева на якобы русском языке, а также африканских руководителей и комиков, таких как Эл Рид и Тони Хенкок. Он мог воспроизвести все голоса и все скетчи из «За гранью»[10] и слыл безусловно лучшим студентом в группе историков. Эдуард считал прогрессом в собственном развитии, свидетельством зрелости то, что ценит дружбу с человеком, которого в школе старался бы избегать.

В это время, будним зимним вечером, Сохо только-только оживал. Пабы были полны, но клубы еще не открылись, и на тротуарах еще не стало тесно. Пару, шедшую им навстречу по Олд-Комптон-стрит, заметить было нетрудно. Они были рокеры, он — крупный парень лет двадцати пяти, с длинными баками, в кожаной куртке с заклепками, узких джинсах и мотоциклетных сапогах; одетая так же пухлая подруга держала его под руку. Проходя мимо и не сбившись с шага, парень размахнулся и отвесил Мадеру такой подзатыльник, что он заспотыкался и большие очки его покатились по тротуару. Это был небрежный

[10] Примечания: 10

«За гранью» — английское комическое ревю начала 1960-х годов с насмешками над британскими руководителями и сюрреалистическим юмором.

жест презрения к росту и ученому виду Мадера или же к его еврейской наружности. Возможно, парень хотел позабавить подругу или произвести на нее впечатление. Эдуард над этим не задумывался. Когда он пошел за парой, Гарольд крикнул вслед что-то вроде «нет» или «не надо», но как раз к такой просьбе и был глух сейчас Эдуард. Он опять пребывал во сне. Ему трудно было бы описать свое состояние: гнев его взвился спиралью, превратившись во что-то вроде исступленного восторга. Правой рукой он схватил парня за плечо и развернул, а левой взял за горло и толкнул к стене. Голова рокера с убедительным стуком ударилась о чугунную водосточную трубу. Держа за горло, Эдуард ударил его в лицо кулаком, один раз, но очень сильно. После этого вернулся и помог Мадеру найти очки, одно стекло в которых треснуло. Они пошли дальше, а парень остался сидеть на тротуаре, закрыв лицо обеими руками, и над ним хлопотала подруга.

В тот вечер Эдуард довольно поздно почувствовал отсутствие благодарности со стороны Гарольда Мадера, а также его молчаливость — точнее, молчаливость по отношению к нему. И еще позже до него дошло, что друг не только не одобряет его — хуже, он смущен. В пабе ни тот

ни другой не рассказали приятелям о происшествии, и в дальнейшем Мадер никогда о нем не упоминал в разговорах с Эдуардом. Упреки были бы облегчением. Не устраивая особых демонстраций, Мадер отдалился от него. Они видались в компаниях. Мадер его как будто бы и не сторонился, но прежней дружбы не было. Эдуард мучился, думая о том, что Мадера отвратило его поведение, но у него не хватало смелости заговорить на эту тему. Кроме того, Мадер постарался, чтобы они никогда не оставались наедине. Сначала Эдуард вменял себе в вину то, что ранил гордость Мадера: не только стал свидетелем его унижения, но выступил вдобавок защитником, показывая, что он крут, а Мадер слаб и не может за себя постоять. Позже Эдуард понял, что поступок его — просто дурного стиля, и от этого ему стало еще стыднее. Уличная драка не гармонирует с поэзией и иронией, с бибопом[11] и историей. Он повинен в плохом вкусе. Он не тот человек, каким себя считал. То, что представлялось ему забавной штукой, грубоватой доблестью, оказалось вульгарностью. Он деревенский парень, провинциальный идиот,

[11] Примечания: 11

Бибоп (боп) — ранний стиль современного джаза, родившийся в начале 1940 годов. Он отличался от традиционного джаза и свинга большей гармонической и ритмической сложностью.

который думал, что, заехав кому-то в морду, произведет впечатление на друга. Это была горькая переоценка. Шаг в развитии, характерный для вступающего в зрелость, когда он открывает для себя новые критерии и хочет, чтобы о нем судили по этим новым. С тех пор Эдуард воздерживался от драк.

Но сегодня, в свадебную ночь, он себе не доверял. Он не был уверен, что больше никогда не нападет на него избирательная глухота и периферическая слепота, не окутают его, как зимний туман на Тёрвилл-Хите, не похоронят в нем нового, более воспитанного человека. Он сидел около Флоренс, держа руку у нее под платьем, и гладил ей ляжку больше полутора минут. Желание нарастало в нем до невыносимости, и он боялся собственного дикого нетерпения и яростных слов или действий, которые оно может вызвать и погубить вечер. Он любил ее, но ему хотелось ее растормошить, поломать эту ее чинную концертную выправку, вышибить северо-оксфордские приличия, чтобы поняла, насколько это в действительности просто: вот безграничная чувственная свобода, бери ее, даже благословлена викарием — «телом моим по-

клоняюсь тебе»,[12] — непристойная, радостная, голая свобода, вздымавшаяся в его воображении, как огромный воздушный собор, может быть разоренный, без кровли, с веерными сводами в небесах, куда они вознесутся невесомо в крепком объятии и будут принадлежать друг другу, утопят друг друга в волнах бездумного, задыхающегося восторга. Это так просто! Почему они сейчас не там, а сидят здесь, скованные всем, чего не умеют высказать и не осмеливаются сделать?

А что им препятствовало? Их индивидуальности и прошлое, их неосведомленность и страх, робость, щепетильность, неуверенность в своих правах, отсутствие опыта и непринужденности, остатки религиозных запретов, английское воспитание, сословная принадлежность и сама история. Не так уж много на самом деле. Он убрал руку, притянул ее к себе и поцеловал в губы со всей сдержанностью, на какую был сейчас способен, не давая воли языку. Он уложил ее поперек кровати, подстелив ей под голову свое предплечье, сам лег на бок, опершись на локоть той же руки, и смотрел на нее сверху. На любое их движение кровать отвечала печальным скрипом

[12] Примечания: 12

… «телом моим поклоняюсь тебе» … — Часть клятвы новобрачных при венчании в англиканской церкви.

— напоминанием о побывавших здесь других новобрачных, наверное, более умелых, чем они. Он подавил неожиданное желание засмеяться, когда представил их себе — торжественную очередь, протянувшуюся в коридор, вниз по лестнице, до стойки портье, в прошедшее время. Нельзя было о них думать: комедия для эротики — яд. И надо было отгонять мысль о том, что она, возможно, боится его. Если он в это поверит, то ничего не сможет сделать. Она послушно лежала в его объятии, смотрела ему в глаза, лицо у нее было размягченное и непонятно что выражало. Дышала она глубоко и ровно, как спящая. Он прошептал ее имя и снова сказал, что любит ее; она моргнула и раскрыла губы — в знак то ли согласия, то ли даже взаимности. Свободной рукой он начал стягивать с нее трусы. Она напряглась, но не сопротивлялась и приподняла или почти приподняла ягодицы над кроватью. И снова раздался звук матрасных пружин или кроватной рамы, грустный, как блеяние ягненка. Даже полностью вытянув свободную руку, он не мог стащить трусы ниже колен, другой рукой поддерживая ее голову. Она ему помогла, согнув ноги в коленях. Хороший знак. Он не отваживался еще на одну попытку с молнией на платье, так

что лифчик — увиденный мельком, голубой, шелковый, с тонкой кружевной оторочкой — тоже остался на месте. Вот и всё с невесомыми голыми объятиями. Но она была прекрасна и так, лежа на его руке, в платье, задранном до бедер, с рассыпавшимися по покрывалу волосами. Солнечная царица![13] Они опять поцеловались. Его мутило от желания и нерешительности. Чтобы раздеться, ему пришлось бы переменить расположение их тел с риском разрушить очарование. Ничтожное изменение, комбинация мельчайших факторов, легкие зефиры сомнения — и она может передумать. Но он твердо знал, что приступить к акту любви — к самому первому, — просто расстегнув ширинку, было бы бесчувственной вульгарностью. И невежливо.

Через несколько минут он осторожно слез с кровати и торопливо разделся у окна, чтобы не засорять таким прозаическим делом драгоценную зону около кровати. По очереди наступив на пятки туфель, он стащил их с ног, а потом большими пальцами одним рывком сдернул носки. Он заметил, что она смотрит не на него, а вверх, на провисший полог. Еще несколько секунд, и он

[13] Примечания: 13

Солнечная царица — Так называют иногда Нефертити, жену фараона Эхнатона, который ввел культ солнца.

уже был голый, если не считать рубашки, галстука и часов. Рубашка, скрывавшая и вместе с тем подчеркивавшая его эрекцию, точно покрывало на еще не открытом памятнике, как бы вежливо подтверждала кодекс поведения, заданный ее платьем. Галстук явно был ни к селу ни к городу, и по дороге к ней он сдернул его одной рукой, а другой расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Это был уверенный, лихой жест, и на минуту к нему вернулось когдатошнее представление о себе как о грубоватом, но в основе порядочном и толковом парне — но быстро исчезло. Призрак Гарольда Мадера все еще тревожил его.

Флоренс не стала садиться, даже не изменила положения тела; она лежала на спине, глядя на складчатую бежевую ткань, поддерживаемую четырьмя столбиками, которые, вероятно, должны были воскресить в ее глазах старую Англию промозгло-каменных замков и куртуазной любви. Она сосредоточилась на неровном переплетении ткани, на зеленом, размером с монету, пятне — как оно туда попало? — и на свободной нитке, колыхавшейся на сквознячке. Она старалась не думать ни о предстоящем, ни о прошлом, и ей представлялось, что она прильнула к текущему моменту, к драгоценному настоящему,

прижалась, как скалолаз без страховки, лицом к камню, не смея пошевелиться. Прохладный воздух приятно обвевал ее голые ноги. Она слушала шум далеких волн, крики серебристых чаек, шорох снимаемой Эдуардом одежды. Тут все-таки явилось прошлое, неотчетливое прошлое. Его вызвал запах моря. Ей было двенадцать лет, она лежала неподвижно, как сейчас, дрожа на койке с бортами из красного дерева. В голове было пусто, она чувствовала себя опозоренной. После двухдневного плавания они снова причалили в тихой гавани Картере к югу от Шербура. Был поздний вечер, и отец двигался по тесной полутемной каюте, раздеваясь, как сейчас Эдуард. Она запомнила шорох одежды, звяканье расстегнутой пряжки, или ключей, или мелочи. У нее была только одна задача: не открывать глаза и думать о мелодии, которая ей нравилась. Или о любой мелодии. Плавание было бурным; она запомнила сладковатый запах почти испортившейся еды в закупоренной каюте. Обычно ее по многу раз рвало во время перехода через Ла-Манш, как матрос, она была отцу не помощница, отсюда и проистекал ее стыд.

И от мыслей о предстоящем она тоже не могла уйти. Как бы оно ни обернулось, она надеялась,

что в каком-то виде возвратится приятное, растекающееся ощущение, что оно усилится и захватит ее, утопит в себе страх, спасет от позора. Но надежда была слабая. Подлинная память о чувстве, о пребывании в нем, об истинном знании, каково оно, уже сократилась до сухого исторического факта. Это происходило когда-то, как битва при Гастингсе. И все же это был ее единственный шанс, и потому бесценный, как хрупкий старинный хрусталь, который страшно уронить, — и еще одна веская причина не шевелиться.

Матрас просел под ней, когда рядом лег Эдуард и в поле зрения его лицо заслонило полог. Она услужливо приподняла голову, чтобы он опять смог подсунуть руку. Он притянул ее к своему телу. Перед глазами у нее были его темные ноздри и один волос в левой, согнутый, как человек в поклоне перед гротом, и колебавшийся при каждом выдохе. Ей нравился резкий очерк желобка на его верхней губе. Справа от желобка розовела крапинка, крохотная выпуклость убывающего или назревающего прыщичка. Она чувствовала бедром его орган, твердый, как метловище, и пульсирующий, и, к своему удивлению, это ее не очень коробило. Вот чего она не хотела, сейчас во всяком случае, — это видеть его.

Закрепляя их воссоединение, он опустил голову, и они поцеловались, причем его язык лишь скользнул по кончику ее языка, за что она опять была благодарна. В баре внизу стало тихо — ни радио, ни разговоров, — и поэтому свои «я тебя люблю» они сказали шепотом. Произнеся, пусть и тихо, эту неувядаемую формулу, скреплявшую их и доказывавшую общность их интересов, она отчасти успокоилась. И подумала, что, может быть, даже справится с этим, что у нее хватит сил убедительно притвориться, а в последующие разы, пообвыкнув, настолько приглушить свои страхи, что будет честно получать и доставлять удовольствие. Ему совсем не надо об этом знать — во всяком случае, пока она сама не расскажет, согревшись в новообретенной уверенности, — расскажет смешную историю о том, какой она была темной девушкой, измученной глупыми страхами. Уже сейчас ее не стесняло, что он трогает ее грудь, — хотя раньше она бы отпрянула. Уже в этом была надежда, и с этой мыслью она плотнее прижалась к его груди. Он был в рубашке — потому, предположила она, что презервативы лежали в верхнем кармашке, для быстрой доступности. Его ладонь скользила вдоль ее тела и поднимала подол платья к талии. Он не расска-

зывал о девушках, с которыми спал до нее, но она не сомневалась в его богатом опыте. В открытое окно тек летний воздух и щекотал волосы на лоне. Она далеко зашла на новую территорию, так далеко, что уже не вернуться.

Флоренс никогда не думала, что первый акт любви примет форму пантомимы и пройдет в таком напряженном, настороженном молчании. Но кроме очевидных трех слов, что сама она могла сказать такого, что не прозвучало бы искусственно или глупо? А поскольку он молчал, она подумала, что так принято. Ей было бы легче, если бы они обменивались глупенькими нежностями, как прежде, когда лежали в ее спальне в Северном Оксфорде, полностью одетые, убивали вечера. Ей необходимо было чувствовать его близость, чтобы сдерживать демона паники, готового на нее наброситься. Ей необходимо было знать, что он с ней, на ее стороне, и не намерен использовать ее, что он ее друг, любезный и нежный. Иначе все пойдет неправильно, ей будет очень одиноко. Только он мог дать ей эту уверенность — помимо любви, — и она не могла удержаться от глупой просьбы или приказа: «Скажи мне одну вещь».

Просьба имела одно немедленное и благоприятное последствие: рука его сразу остановилась,

недалеко от того места, где была перед этим, — в нескольких сантиметрах ниже пупка. Он смотрел на нее сверху, губы у него чуть подрагивали — может быть, от нервозности, или улыбка нарождалась, или мысль подыскивала слова.

К ее облегчению, он понял подсказку и прибег к испытанной форме глупости. Он торжественно произнес:

— У тебя милое лицо и прекрасная душа, соблазнительные локти, и лодыжки, и ключица, и таламус, и вибрато, которое должны обожать все мужчины, но ты принадлежишь только мне, и я очень рад и горд.

Она сказала:

— Очень хорошо. Можешь поцеловать мое вибрато.

Он взял ее левую руку и по очереди пососал кончики пальцев, гладя языком мозоли скрипачки. Они поцеловались, и в эти мгновения относительного оптимизма Флоренс почувствовала, как напряглись его руки, и вдруг ловким борцовским движением он накатился на нее, и, хотя он опирался на локти и предплечья, расположившиеся по обе стороны от ее головы, она почувствовала себя придавленной, беспомощной, и даже стало трудновато дышать под его телом. Она была разо-

чарована тем, что он не помедлил, не погладил ее опять по лобку, отчего по всему телу расходились странные приятные токи. Но непосредственной ее сейчас заботой — уже прогресс по сравнению со страхом и отвращением — было соблюсти видимость, не разочаровать его и не унизить, не показаться неудачной избранницей после всех его знакомых женщин. Она должна перетерпеть. Она никогда не покажет ему, чего ей стоило, какой борьбы, — выглядеть спокойной. У нее не было иных желаний, чем угодить ему, не испортить ему эту ночь, и никаких других ощущений, кроме того, что конец его пениса, до странности холодный, тычется в ее уретру и вокруг. С паникой и отвращением, как ей казалось, она совладала; она любила Эдуарда, и все ее мысли были только о том, чтобы помочь ему, дать ему то, чего он страстно желал, чтобы он полюбил ее еще сильнее. С этой мыслью она и просунула руку между его и своим пахом. Он чуть приподнялся, чтобы пропустить ее. Она была довольна собой, вспомнив рекомендацию красного справочника: вполне допустимо, чтобы новобрачная «направила мужчину».

Сначала она нашла его яички и совсем уже без страха мягко обняла пальцами эту удиви-

тельную щетинистую пару, которую наблюдала в разных видах у собак и коней и никогда не думала, что она может удобно поместиться на взрослом человеке. Проведя рукой по ее исподу, она пришла к основанию пениса и обняла его с чрезвычайной осторожностью, потому что не знала, насколько он чувствителен и прочен. Она провела пальцами вдоль него, отметив с интересом его шелковистость, и поднялась по нему до конца, который легонько погладила; а потом, изумляясь собственной смелости, спустилась вниз до середины, крепко взяла его и, нагнув вниз, немного изменила направление, так что он коснулся ее влагалища.

Откуда ей было знать, какую ужасную ошибку она совершает? Не за тот предмет потянула? Слишком крепко сжала? Он издал вопль, сложную восходящую гамму страдальческих гласных — звук, подобный тому, который она слышала однажды в кинокомедии, когда официант, лавируя между столами, чуть-чуть не уронил гору суповых тарелок.

В ужасе она разжала руку, а Эдуард, вскинувшись с растерянным видом и судорожно выгибая мускулистую спину, излился на нее толчками, сильными, но уменьшавшимися выбросами

теплой вязкой жидкости, заполнив ее пупок, обрызгав живот и бедра, и даже часть подбородка, и коленную чашечку. Это была катастрофа, и Флоренс сразу поняла, что виной всему она, что она неумелая, невежественная, глупая. Нельзя было вмешиваться, нельзя было верить этому руководству. Лопни у него сонная артерия — и то не было бы страшнее. До чего это типично для нее — вмешиваться в дела ужасающей сложности; как же она не подумала, что ее манера вести себя на репетициях квартета здесь совершенно неуместна!

И была в этом еще одна сторона, гораздо более огорчительная и совершенно ей неподвластная, вызывавшая воспоминания, которые она давно решила не признавать своими. Еще полминуты назад она гордилась тем, что совладала со своими чувствами и может выглядеть спокойной. А сейчас не могла подавить нутряное отвращение, сердцевинный ужас от того, что облита жидкостью, гадостью из чужого тела. Через считаные секунды на морском ветру жидкость на ее коже сделалась холодной, как лед, и притом, как и ожидала Флоренс, словно ошпаривала ее. И не было никаких сил в душе, чтобы сдержать крик отвращения. Чувство, что влага густыми

ручейками растекается по коже, ее чужеродная молочность, интимный клейстерный запах, тащивший за собой вонь позорной тайны, запертой в тесном затхлом пространстве, — Флоренс не могла с собой совладать, она должна была от этого избавиться. Эдуард съежился рядом, а она повернулась, поднялась на колени, выдернула из-под покрывала подушку и стала исступленно вытираться. При этом она сознавала, как мерзко, как невежливо она ведет себя, как тяжело ему видеть в его несчастье, что она лихорадочно стирает со своей кожи часть его самого. А это было не так легко. Жидкость липла к ней и только размазывалась, а местами уже высыхала, превращалась в ломкую глазурь. И сама она будто раздвоилась: одна с досадой отшвырнула подушку, а другая, наблюдавшая, ненавидела себя за это. Ужасно было, что он видит ее сейчас, истеричную, остервенелую женщину, на которой по глупости женился. Она могла возненавидеть его за то, что он видит ее такой и никогда этого не забудет.

Вне себя от гнева и стыда, она вскочила с кровати. А другая, наблюдающая, Флоренс как будто спокойно говорила ей, но не совсем словами: *Вот так, кажется, с ума и сходят*. Она не могла смот-

реть на него. Оставаться в комнате с человеком, который видел ее такой, было пыткой. Она схватила с пола туфли и побежала через гостиную, мимо остатков ужина, в коридор, оттуда вниз по лестнице, через парадный вход и по мшистой лужайке за гостиницей. И даже очутившись наконец на берегу, бежать не перестала.

ГЛАВА 4

В короткий год между их первой встречей на Сент-Джайлз-стрит и венчанием в церкви Святой Марии, меньше чем в километре оттуда, Эдуард часто оставался на ночь в большой викторианской вилле недалеко от Банбери-роуд. Виолетта Пойнтинг отвела ему то, что именовалось в семье «маленькой комнатой» на верхнем этаже, в целомудренном отдалении от комнаты Флоренс, с видом на огороженный стеной сад длиной в сотню метров, за которым начиналась территория колледжа или богадельни — он так и не потрудился выяснить чья. «Маленькая комната» была больше любой их спальни, а то и общей комнаты в Тёрвилл-Хите. Одна стена была занята простыми белыми полками с латинскими и греческими томиками «Классической библиотеки» Лоба. Эдуарду нравилось быть причастным к такой строгой учености, хотя он знал, что никого не сможет обмануть, оставляя на ночном столике книги Эпиктета или Страбона. Как и всюду в доме, стены были экзотически окрашены в белый цвет — во всем владении Пойнтингов не было

ни клочка обоев, ни цветастых, ни полосатых, и пол дощатый, некрашеный, голый. В его распоряжении был весь верх дома и просторная ванная между этажами — с цветными стеклами и лакированной пробковой плиткой, тоже новшеством. В углу, под скатом крыши, стояли отмытый сосновый стол с шарнирной лампой (тоже дорогой новинкой) и простой стул голубого цвета. Ни картинок, ни ковров, ни украшений, ни изрезанных журналов или иных следов проектов и увлечений. Впервые в жизни он отчасти старался вести себя опрятно — он никогда не бывал в подобных комнатах, где мысли спокойны и не замусорены. Здесь однажды, ослепительной ноябрьской ночью он написал формальное письмо Виолетте и Джеффри Пойнтинг, в котором объявлял о своем желании жениться на их дочери и не столько просил их согласия, сколько с уверенностью ожидал одобрения. Он не ошибся. Родители выразили радость и отметили помолвку воскресным семейным обедом в отеле «Рандольф». Эдуард слишком мало знал свет и поэтому не удивился радушному приему в доме Пойнтингов. В качестве кавалера, а потом жениха Флоренс, приезжая в Оксфорд на попутках или на поезде из Хенли, он вежливо воспринимал как должное и то, что у него есть

здесь своя комната, и то, что кормят, спрашивая при этом его мнение о правительстве и международных делах, и то, что к его услугам библиотека и сад с крокетной и бадминтонной площадками. Он был благодарен, но нисколько не удивлялся тому, что его белье забирают в стирку вместе с семейным, вслед за чем на одеяле в изножье кровати появляется аккуратно отглаженная стопка свежего, благодаря любезности уборщицы, ежедневно приходящей по будням.

Ему казалось вполне естественным, что Джеффри Пойнтинг хочет играть с ним в теннис на травяных кортах Саммертауна. Эдуард играл посредственно — он неплохо подавал благодаря росту, иногда мог смачно засадить с задней линии. Но у сетки был бестолков и неловок и, не полагаясь на свой непредсказуемый бэкхенд, предпочитал забегать для приема влево. Он немного боялся отца Флоренс, опасался, что тот видит в нем нахала, самозванца, вора, замыслившего похитить девственность его дочери и удрать, — что было правдой лишь отчасти. Пока они ехали к кортам, Эдуард беспокоился вдобавок из-за игры — выиграть было бы невежливо, а уступить без сопротивления значило бы попусту отнять время у хозяина. Но он напрасно волно-

вался. Пойнтинг был игроком другого класса, играл быстро, бил точно и был поразительно подвижен для пятидесятилетнего. Первый сет он выиграл шесть — один, второй всухую, третий — шесть — один, но самое главное — как он ярился, когда Эдуарду удавалось выцарапать розыгрыш. Возвращаясь на место, он отчитывал себя вполголоса и, насколько Эдуард мог расслышать со своего края, угрожал себе физической расправой. Время от времени Пойнтинг и в самом деле крепко хлопал себя ракеткой по правой ягодице. Он не просто хотел выиграть или выиграть с легкостью, ему позарез надо было взять каждое очко. Два гейма, отданные в первом и третьем сете, и несколько невынужденных ошибок доводили его чуть ли не до крика: «Черт побери! Опомнись!» По дороге домой он был лаконичен, и десяток или полтора очков, выигранных Эдуардом за два сета, были в некотором роде победой. Выиграй он матч в самом деле, ему, пожалуй, вообще не разрешили бы видеть Флоренс.

В целом же Джеффри Пойнтинг, на свой нервический, энергический лад, был любезен с Эдуардом. Если Эдуард был в доме, когда он часов в семь приходил с работы, то наливал себе и Эдуарду джина с тоником из своего винного

буфета — джина и тоника поровну и много кубиков льда. Для Эдуарда лед в напитках был внове. Они садились в саду и беседовали о политике — Эдуард по большей части выслушивал мнения будущего тестя об упадке британского бизнеса, о спорах из-за разделения сфер деятельности в профсоюзах, о безрассудном даровании независимости разным африканским колониям. Даже тут Пойнтинг не расслаблялся, он сидел на краешке кресла, готовый в любую секунду вскочить, а когда говорил, подбрасывал и опускал колено или перебирал пальцами ноги в сандалии под влиянием какого-то внутреннего ритма. Он был гораздо ниже Эдуарда, но могучего сложения, с заросшими белой шерстью мускулистыми руками, которые любил демонстрировать, нося, даже на работе, рубашки с короткими рукавами. И лысина его выглядела утверждением силы, а не возраста — загорелая кожа на большом черепе была натянута гладко и туго, как наполненный ветром парус. Лицо тоже было большое, с носом-кнопкой, маленькими мясистыми губами, в покое приобретавшими выражение решительного недовольства, и глазами, настолько широко расставленными, что при определенном освещении он напоминал гигантского зародыша.

Флоренс никогда не выражала желания участвовать в их садовых беседах, а может быть, и отец этого не желал. Насколько Эдуард мог судить, отец с дочерью редко разговаривали наедине, а в обществе обменивались мало значащими фразами. Тем не менее ему казалось, что они остро ощущали присутствие друг друга, и, когда говорили другие, отец и дочь как будто обменивались тайком скептическими взглядами. Пойнтинг то и дело обнимал за плечи Рут, но ни разу при Эдуарде не обнял ее старшую сестру. При этом в разговорах Пойнтинг много раз лестно отзывался о «вас с Флоренс» или о «вас, молодежи». Это он, а не Виолетта пришел в энтузиазм от сообщения о помолвке, устроил обед в «Рандольфе» и произнес полдюжины тостов. У Эдуарда мелькнула мысль, впрочем скорее шутливая, не больно ли уж рад он сбыть с рук дочь.

Примерно в это время Флоренс сказала отцу, что Эдуард мог бы стать ценным приобретением для фирмы. Однажды утром Пойнтинг отвез его на «хамбере» на свою фабрику на окраине Уитни, где конструировали и собирали научные приборы, начиненные транзисторами. Пока они ходили между сборочными столами и Эдуард, сконфуженный невежда перед лицом науки и

техники, не мог придумать ни одного осмысленного вопроса, Пойнтинг никакого беспокойства не проявлял. Эдуард несколько приободрился в конструкторском бюро — комнате без окон, где познакомился с лысым двадцатидевятилетним начальником отдела сбыта, выпускником Дарэмского университета, защитившим докторскую диссертацию о средневековом монашестве в Северо-Восточной Англии. Вечером за джином с тоником Пойнтинг предложил Эдуарду должность разъездного агента по реализации. Ему придется почитать об их продукции, немножечко об электронике и совсем немного о договорном праве. Эдуард, все еще не имевший определенных профессиональных планов, подумал, что вполне можно писать исторические книги в поездах и гостиницах между деловыми встречами, и согласился, скорее из вежливости, а не потому, что был действительно заинтересован в месте.

Он вызывался на всякие домашние работы, и это еще больше сблизило его с семейством. За лето 1961 года он многократно подстригал разные газоны (садовник хворал), расколол десять кубометров дров для печки, на второй машине, «Остине-35», регулярно вывозил барахло на свалку из неиспользуемого гаража, который Виолетта

хотела превратить в продолжение библиотеки. На той же машине — «хамбер» ему никогда не давали — он отвозил Рут, сестру Флоренс, к друзьям и родственникам в Тейм, Банбери и Стратфорд, а потом забирал оттуда. Возил и Виолетту — однажды на симпозиум по Шопенгауэру в Винчестере, и по дороге она допрашивала Эдуарда о его предмете — хилиастических сектах. Какую роль играл голод и социальные перемены в привлечении новых последователей? Их антисемитизм, вражда с церковью и купцами не позволяют ли видеть в этих движениях ранний социализм русского типа? И затем — тоже испытующе, — не является ли ожидание ядерной войны современным эквивалентом Откровения Иоанна Богослова и не обречены ли мы нашей историей и виноватым сознанием постоянно рисовать картины всеобщей гибели?

Эдуард отвечал нервно, понимая, что проверяется его интеллектуальная смелость. Пока он говорил, они проехали окраины Винчестера. Краем глаза он увидел, что она достала пудреницу и попудрила свое худое белое лицо. Его завораживали ее белые, похожие на палочки руки и острые локти, и он в который раз подумал: неужели она и вправду мать Флоренс? Но сейчас нельзя было

отвлекаться, при том что он еще и вел машину. Он сказал, что различие между тем временем и нынешним важнее, чем сходство. Это различие между мрачной, абсурдной фантазией, сочиненной мистиком на исходе железного века и разукрашенной его доверчивыми средневековыми двойниками, и, с другой стороны, разумным страхом перед возможным страшным событием, которое мы в силах предотвратить.

Тоном четкой отповеди, фактически положившим конец беседе, она сказала, что он не совсем ее понял. Вопрос не в том, не правы ли были средневековые сектанты в отношении Апокалипсиса и конца света. Конечно, они ошибались, но страстно верили в свою правоту и действовали в соответствии со своими убеждениями. Так же и он искренне верит, что ядерное оружие уничтожит мир, и действует соответственно. Совершенно не важно, что он ошибается, что на самом деле ядерная бомба удерживает мир от войны. В этом, в конце концов, весь смысл устрашения. Он, историк, конечно, заметил, что на протяжении веков у массовых заблуждений — вернее, помрачений — обнаруживаются общие темы. Поняв, что она приравнивает его поддержку Движения за ядерное разоружение к членству в хилиастической

секте, он вежливо свернул разговор, и последний километр они проехали в молчании. В другой раз он возил ее в Челтнем, где она прочла лекцию в шестом классе Челтнемского женского колледжа о преимуществах оксфордского образования. Его образование тоже продвигалось. В это лето он впервые попробовал салат с соусом из лимона и оливкового масла и за завтраком йогурт — изумительное вещество, известное ему по романам о Джеймсе Бонде. Стряпня обремененного делами отца и студенческие годы на пирожках и картошке не подготовили его к встрече со странными овощами — баклажанами, зелеными и красными перцами, кабачками, стручковой фасолью, — регулярно появлявшимися перед ним на столе. В свой первый визит он был удивлен и даже обескуражен, когда Виолетта подала на первое тарелку недоваренного гороха. Ему пришлось преодолеть антипатию к чесноку — не столько к его вкусу, сколько к репутации. Когда он назвал багет круассаном, Рут долго хихикала и ей пришлось даже выйти из комнаты. Еще вначале Эдуард произвел впечатление на Пойнтингов, сообщив, что никогда не бывал за границей, если не считать Шотландии, где он взошел на три километровые горы на полуострове Нойдарт. Впервые в жизни

он отведал мюсли, маслины, свежий черный перец, хлеб без масла, анчоусы, непрожаренного ягненка, сыр, который не был чеддером, рататуй, буайбес, полные обеды и ужины без картошки и, самое подозрительное, — розовую, с рыбным душком пасту, *тарамасалата*.[14] Многие из этих кушаний были лишь слегка противны и каким-то необъяснимым образом между собой схожи, но он решительно не хотел показаться профаном. Иной раз если ел слишком быстро, то чуть не давился.

К некоторым новинкам он приохотился сразу: к свежемолотому фильтрованному кофе, к апельсиновому соку за завтраком, к утке, запеченной в собственном жире, к свежему инжиру. Ему было невдомек, насколько необычна чета Пойнтингов: преуспевающий бизнесмен, женатый на оксфордской преподавательнице, и сама Виолетта, в прошлом подруга Элизабет Дэвид,[15] ведущая домашнее хозяйство в авангарде кулинарной революции параллельно с лекциями о монадах и

[14] Примечания: 14

Тарамасалата — икра карпа с накрошенным хлебом или картофельным пюре, лимонным соком и прованским маслом.

[15] Примечания: 15

Элизабет Дэвид (1913–1992) — автор популярных кулинарных книг середины XX в., привила англичанам вкус к французской и итальянской кухне.

категорическом императиве. Эдуард приобщался к их семейным обстоятельствам, не понимая экзотичности этого изобилия. Он полагал, что так живут все оксфордские преподаватели, и не хотел показывать, что это производит на него впечатление.

На самом деле он был зачарован, он жил во сне. В то теплое лето его влечение к Флоренс было неотделимо от обстановки — от огромных белых комнат с чистыми деревянными полами, нагретыми солнцем, от зеленой прохлады, лившейся через открытые окна в дом из густого сада, от душистого цветения деревьев, от свежих книг в переплетах на столах библиотеки — новой Айрис Мердок (она была подругой Виолетты), нового Набокова, нового Энгуса Уилсона — и от первой встречи со стереофоническим проигрывателем. Однажды утром Флоренс показала ему электронные лампы с оранжевым накалом, торчащие из элегантного серого корпуса усилителя, и колонки высотой до пояса и завела с безжалостной громкостью симфонию Моцарта «Хаффнер». Скачок на октаву во вступлении сразу захватил его своей дерзкой ясностью — весь оркестр раскинулся перед ним: он поднял кулак и закричал через всю комнату, не заботясь о том, услышат ли его

посторонние, закричал, что любит ее. Он впервые сказал эти слова — не только ей, а вообще впервые. Она в ответ сложила губами те же слова и засмеялась от радости, что его наконец-то проняла классическая музыка. Он пересек комнату и попытался танцевать с ней, но музыка заторопилась и стала взволнованной, они сбились с такта, остановились и стояли обнявшись, среди ее завихрений.

Мог ли он притворяться перед собой, что в узком его существовании это не поразительный опыт? Ему удавалось об этом не думать. По природе он не был склонен к самоанализу, и перемещения по ее дому с постоянной эрекцией — по крайней мере так ему казалось — несколько притупляли и ограничивали работу ума. По неписаным правилам дома днем, когда она упражнялась на скрипке, он мог валяться на ее кровати, при условии, что дверь спальни открыта. Предполагалось, что он читает, но мог он только смотреть на нее и обожать ее голые руки, ее ленту в волосах, ее прямую спину, прелестный наклон ее головы, когда она прижимала инструмент подбородком, контур ее груди на фоне окна, колыхание хлопчатой юбки вокруг загорелых икр и переливы маленьких мышц в икрах, когда она раскачи-

валась или меняла позу. Время от времени она вздыхала из-за воображаемой погрешности в тоне или фразировке и повторяла это место снова и снова. Другим показателем ее настроения было то, как она переворачивала страницы — иногда резким движением кисти, иногда замедленно, довольная собой наконец или в предвкушении новых удовольствий. Эдуарда удивляло, что она его не замечает — у нее был дар сосредоточенности, тогда как он мог провести целый день в сумерках скуки и безвыходного вожделения. Час мог пройти, прежде чем она вспоминала о нем; тогда она поворачивалась и улыбалась, но никогда не ложилась к нему на кровать — бешеное профессиональное честолюбие или еще какой-то домашний протокол удерживали ее у пульта. Они ходили по большому общественному лугу Порт-Медоу вверх по Темзе, чтобы выпить пива в трактирах «Перч» или «Траут». Когда разговаривали не о своих чувствах — этими разговорами Эдуард уже немного пресытился, — говорили о своих планах. Он намеревался написать серию коротких историй о полузабытых деятелях, состоявших какое-то время при великих людях и переживших свою минуту славы. Он рассказал ей о стремительной поездке сэра Роберта Кэри

на север, о том, как он прибыл ко двору Якова с окровавленным после падения с лошади лицом и как все его старания ничего ему не дали. После разговора с Виолеттой Эдуард решил добавить еще одного средневекового сектанта, описанного Норманом Коном, — мессию флаггелантов 1360-х годов, чье пришествие, как утверждал он сам и его последователи, было предсказано в пророчествах Исаии. Христос был всего лишь его предшественником, потому что он Император Последних дней, а также сам Бог. Его бичующиеся последователи рабски ему подчинялись и молились ему. Его звали Конрад Шмид; вероятно, он был сожжен на костре инквизицией в 1368 году, после чего его многочисленная секта просто растаяла. Эдуард представлял себе так, что история эта будет не длиннее двухсот страниц, опубликована издательством «Пингвин» с иллюстрациями, а когда серия завершится, полный набор, возможно, будет продаваться в специальной коробке.

Флоренс, естественно, делилась своими планами относительно Эннисморского квартета. Неделю назад они поехали в свой бывший колледж и сыграли ее преподавателю целиком

квартет Бетховена, один из «Разумовских».[16] Преподаватель не скрывал волнения: он сказал, что у них есть будущее, они во что бы то ни стало должны держаться вместе и работать не щадя сил. Сказал, что они должны сжать репертуар, сосредоточиться на Гайдне, Моцарте, Бетховене и Шуберте, а Шумана, Брамса и двадцатый век оставить на потом. Флоренс призналась Эдуарду, что никакой иной жизни она не мыслит и не будет просиживать годы за вторым пультом в каком-нибудь оркестре — это если бы еще ее взяли. В квартете работа такая напряженная, требует такой концентрации, поскольку каждый участник — почти солист, музыка так прекрасна и насыщенна, что всякий раз, когда играют сочинение целиком, они находят что-то новое.

Все это она говорила, зная, что классическая музыка для него — пустой звук. Лучше всего, когда она звучит тихо, фоном — нерасчлененный поток мяуканий, гудков, жужжаний, свидетельствующий, как принято считать, о серьезности, зрелости и прочтении к прошлому, не вызывающий никакого интереса и никакого волнения. Но

---

[16] Примечания: 16

…квартет Бетховена, один из «Разумовских». — Бетховен посвятил три квартета (ор. 59) меценату и музыканту-любителю графу А. К. Разумовскому.

Флоренс верила, что его ликующий крик в начале симфонии «Хаффнер» означал решительную перемену, и пригласила его с собой в Лондон на репетицию. Он живо согласился — конечно, ему хотелось увидеть ее за работой, но, что еще важнее, — узнать, не соперник ли ему в каком-либо отношении этот виолончелист, Чарльз, о котором она что-то очень часто упоминала. Если да, думал Эдуард, то надо обозначить свое присутствие.

Из-за летнего затишья фортепьянный салон рядом с Уигмор-холлом за символическую плату предоставил квартету репетиционную комнату. Флоренс с Эдуардом прибыла раньше других, чтобы провести его по Уигмор-холлу. Зеленая комната, маленькая комната для переодевания, даже зал и купол, на его взгляд, вряд ли заслуживали того почтения, которое испытывала к этому месту Флоренс. Она так гордилась Уигмор-холлом, как будто сама его спроектировала. Она вывела его на сцену и попросила представить себе, с каким страхом и трепетом выходишь сюда играть перед разборчивой публикой. Представить он не мог, но не признался в этом. Она сказала, что когда-нибудь это произойдет, она решила: Эннисморский квартет выступит здесь и сыграет триумфально. Он обожал ее за торжественность

этого обещания. Он поцеловал ее, потом спрыгнул в зал, отошел на три ряда, встал посередине и поклялся, что, как бы ни сложилась жизнь, в этот день он будет здесь, на этом самом месте, 9С, и первым станет аплодировать и кричать «браво».

Началась репетиция; Эдуард тихо сидел в углу голой комнаты в состоянии совершенного счастья. Он обнаружил, что любовь не равномерное состояние, а переживание волнообразное, со свежими приливами, один из которых он испытывал сейчас. Виолончелист, непропеченный молодой человек с заиканием и ужасной кожей, был явно огорчен явлением нового друга Флоренс, и Эдуард великодушно простил ему рабскую фиксацию на Флоренс, потому что тоже не мог оторвать от нее взгляд. Она приступала к работе в состоянии довольства, близком к трансу. Она надела ленту на волосы, и, наблюдая за ней, Эдуард погрузился в мечты — не только о сексе с Флоренс, но и о женитьбе, будущей семье и возможной дочери. Размышление о таких предметах, безусловно, было знаком зрелости. Возможно, это было благопристойной вариацией исконной мечты о том, чтобы быть любимым более чем одной девушкой. Она будет красива и серьезна, как мать, тоже с прямой спиной, непременно будет играть на

инструменте — на скрипке, вероятно, хотя он не исключал и электрогитару.

В этот день разучивать моцартовский квинтет пришла альтистка Соня, соседка Флоренс по коридору. Наконец они приготовились начать. Было короткое напряженное затишье, которое мог бы вписать в партитуру сам Моцарт. Они заиграли; Эдуарда сразу захватила сила, мускулистость звука и бархатные переговоры инструментов, и несколько минут подряд он действительно получал удовольствие от музыки, а потом упустил нить и привычно заскучал от этого чинного волнения и одинаковости. Потом Флоренс остановила их, тихо сказала замечания, и после общего разговора они начали сначала. Так происходило несколько раз; благодаря повторению Эдуард стал различать нежную мелодию, беглые сплетения голосов, смелые обрушения и скачки, которых он уже ждал при повторах. Позже, когда ехали на поезде домой, он сказал ей совершенно искренне, что музыка проняла его, и даже напел какие-то отрывки. Флоренс была так растрогана, что дала еще одно обещание — с той же проникновенной серьезностью, которая будто вдвое увеличивала ее глаза. Когда наступит великий день их дебюта в Уигмор-холле, они сыграют

этот квинтет — сыграют специально для него.

В ответ он отобрал дома и привез в Оксфорд пластинки, надеясь, что она сможет их полюбить. Она сидела как статуя и терпеливо слушала, закрыв глаза, с чрезмерной сосредоточенностью — Чака Берри. Он думал, что ей может не понравиться «Отодвинься, Бетховен», но она нашла песню уморительной. Он поставил ей вещи Чака Берри в «корявом, но честном» исполнении «Битлз» и «Роллинг стоунз». Она хотела сказать что-нибудь одобрительное о каждой, но находила только слова «бодрая», «веселая», «поют с душой», и он понимал, что это просто вежливость. Когда он сказал, что она «не сечет» рок и вряд ли стоит дальше стараться, она призналась, что не выносит ударников. Если мелодии такие элементарные, большинство — на четыре четверти, зачем поддерживать метр беспрерывным буханьем, стуком и лязгом? Какой смысл, если есть уже ритм-гитара, а часто — и рояль? Если музыканты сами не могут выдерживать ритм, почему не поставят метроном? Что, если бы Эннисморский квартет взял барабанщика? Он поцеловал ее и сказал, что она самый отсталый человек во всей западной цивилизации.

— Но ты меня любишь, — сказала она.

— За это и люблю.

В начале августа сосед из Тёрвилл-Хита заболел, и Эдуард получил временную работу — ухаживать за полем Тёрвиллского крикетного клуба. Двенадцать рабочих часов в неделю, в любое удобное для него время. Ему нравилось уходить из дома рано утром, раньше даже, чем просыпался отец, и под пение птиц, по липовой аллее он неторопливо шел к полю, словно был его хозяином. За первую неделю он подготовил центральную площадку к местному дерби — важной игре со Стонором. Он подстриг траву, повозил каток и помог плотнику, приехавшему из Хамбл-дена, построить и побелить новый экран на краю поля.[17] Когда он не работал и не нужен был по дому, он сразу отправлялся в Оксфорд — не только потому, что скучал по Флоренс, но и с тем, чтобы предварить неизбежный ее визит для знакомства с семьей. Он не знал, как она и мать отнесутся друг к дружке, как отреагирует Флоренс на грязь и кавардак в доме. Он думал, что сначала надо подготовить обеих женщин, но, как выяснилось,

[17] Примечания: 17

…построить и побелить новый экран на краю поля. — Белый экран (деревянный, пластмассовый) ставится на краю крикетного поля, чтобы бэтсмен (бьющий) лучше видел на его фоне мяч, брошенный боулером (метателем).

в этом не было нужды; однажды, жарким днем, в пятницу, перейдя поле, он увидел Флоренс, дожидавшуюся его в тени павильона. Она знала его расписание, села на ранний поезд и прошла из Хенли к долине Стонор с крупномасштабной картой в руке и парой апельсинов в холщовой сумке. Полчаса она наблюдала за ним, пока он делал разметку на дальнем краю. Любила его издали, сказала она, когда они поцеловались.

Это был один из ярких эпизодов в начале их любви: рука об руку они шли назад по прекрасной аллее, по середине ее, чтобы полностью владеть ею. Теперь, когда это стало неизбежностью, перспектива ее встречи с матерью и знакомства с домом уже не казалась такой важной. Тени лип были так плотны, что при ярком солнце выглядели иссиня-черными, а зной был напоен запахом молодых трав и полевых цветов. Он козырял знанием их народных названий и даже нашел, по случайности, у дороги пучок чилтернской горечавки. Одну они сорвали. Они видели овсянку, зеленушку; промелькнул ястреб-перепелятник и круто повернул вокруг терна. Она не знала имен даже таких обыкновенных птиц, но сказала, что непременно выучит. Она была в восторге от красоты этих мест и от того, как умно

она выбрала дорогу — не по долине Стонор, а по узкому проселку в безлюдную долину Бикс-Боттом мимо обтянутых плющом развалин церкви Святого Иакова, по лесистому склону вверх на пастбище у Мейденсгроува, потом через буковый лес к Писхилл-Бэнку, где на склоне холма красиво примостилась кирпично-каменная церквушка. Флоренс описывала эти места, отлично ему известные, и он воображал ее там — как она идет одна, час за часом, останавливаясь, только чтобы свериться с картой. Все — ради него. Какой подарок! И он никогда не видел ее такой радостной и такой прелестной. Она перевязала волосы на затылке черной бархоткой; на ней были черные джинсы, черные парусиновые туфли и белая рубашка, в петлю которой он продел нахальный одуванчик. Пока они шли к дому, она то дергала его зазеленившуюся от травы руку, чтобы поцеловаться, хотя и совсем легонько, и на этот раз он радостно или, по крайней мере, спокойно довольствовался тем, что не обещало развития. После того как она очистила для них оставшийся апельсин, рука ее липла к его ладони. Они невинно ликовали по поводу ее умного сюрприза, и жизнь казалась смешной и свободной, и впереди у них было два выходных.

Воспоминание о той прогулке от крикетного поля до дома кололо его теперь, год спустя, в свадебный вечер, и в полумраке он поднялся с кровати. В нем боролись противоположные чувства, и надо было держаться за самые лучшие, самые добрые мысли о ней, иначе, думал он, я сдамся, опущу руки. Он пошел в другой конец комнаты, чтобы взять с пола трусы. Ноги налились жидкой тяжестью. Он надел трусы, поднял брюки и довольно долго стоял, держа их в руке и глядя в окно, на обжатые ветром потемневшие деревья, чьи кроны слились в сплошную серо-зеленую массу. Высоко в небе висел дымчатый полумесяц, почти не дававший света. Размеренный плеск волн о берег, словно включаясь каждый раз, прерывал его мысли и вселял усталость; неумолимые законы и процессы физического мира, ход луны и приливы, которыми он вообще мало интересовался, нисколько не зависели от того, что происходит с ним. Это была жестокая в своей очевидности истина. Как он может остаться один, без поддержки? И как он может спуститься и подойти к ней на берегу, куда она, наверное, убежала? Брюки в руке казались тяжелыми и нелепыми — две параллельные трубы из ткани, соединявшиеся на одном кон-

це, — произвольный фасон последних столетий. Надеть их, казалось ему, — значит вернуться к общественной жизни, к своим обязательствам, изведать полной мерой свой позор. Одевшись, он вынужден будет пойти и найти ее. Поэтому он мешкал. Как многие яркие воспоминания, это — об их прогулке до Тёрвилл-Хита — окружало себя полутенью забвения. Кажется, придя в дом, они застали мать одну — отец и девочки еще не вернулись из школы. Марджори Мэйхью обычно волновалась при встрече с незнакомыми, но Эдуард совершенно не помнил, как знакомил ее с Флоренс и как Флоренс восприняла грязь и запущенность дома и вонь канализации из кухни, всегда усиливавшуюся летом. Сохранились только клочки воспоминаний, картинки вроде старых открыток. Одна — вид через грязное с сеткой окно на сад, где в дальнем конце на скамейке сидели Флоренс и мать с ножницами и экземпляром «Лайфа» и разговаривали, вырезая картинки. Девочки, вернувшись из школы, вероятно, повели Флоренс к соседу смотреть новорожденного осленка — потому что на другой картинке они шли к дому по траве, держась за руки. Третья картинка — Флоренс несет отцу в сад поднос с чаем. Да, в этом не должно быть сомнений — она

хороший человек, самый лучший, и тем летом в нее влюбились все Мэйхью. Близняшки поехали с ним в Оксфорд и целый день провели на реке с Флоренс и ее сестрой. Марджори постоянно спрашивала его о Флоренс, хотя не могла запомнить ее имя, а Лайонелл Мэйхью, поглощенный земными заботами, посоветовал сыну жениться на «этой девушке», пока она не ускользнула.

Он вызывал эти прошлогодние воспоминания, домашние открытки, прогулку под липами, оксфордское лето не из сентиментального желания разбередить свою печаль, а чтобы прогнать ее, почувствовать, что он любит, сдержать наступление стихии, которое он вначале не хотел признавать, — омрачение, темное желание свести счеты, работу яда, который уже растекался по его существу. Гнев. Демона, которого он держал в узде, когда думал, что его терпение вот-вот лопнет. Как соблазнительно отдаться ему теперь, когда он один и можно дать ему волю. Самолюбие требовало этого после такого унижения. И что вреда от всего лишь мысли? Лучше разделаться с этим сейчас, пока он стоит полуголый среди руин первой брачной ночи. Сдаться ему помогла ясность, которая приходит с внезапным прекращением желания. Плоть больше не смягчала, не туманила

мысли, и он мог зафиксировать оскорбление с судебной объективностью. И какое оскорбление, сколько презрения было в ее негодующем крике, возне с подушкой, какой палаческий выверт — без единого слова выбежать из комнаты, оставить его наедине с омерзительным стыдом, взвалить на него всю вину за неудачу. Она изо всех сил постаралась сделать ситуацию еще более тяжелой, непоправимой. Она его презирает, она хотела его наказать, оставила одного угрызаться своей несостоятельностью, как будто сама была ни при чем. А ведь сама это устроила, своей рукой, своими пальцами. Вспомнив это прикосновение, этот сладостный миг, он снова возбудился и отвлекся от жестоких мыслей, почувствовал искушение простить ее. Но не поддался искушению. Он нашел свою тему и продолжал себя накручивать. Наклевывалась тема еще более важная, вот она, он поймал ее наконец и внедрился в нее, как шахтер из штольни в мрачный забой, чтобы дать выход копившейся ярости.

Все стало ясно ему — он был идиотом, что не понимал этого. Целый год он покорно мучился, желая ее до боли и желая жалких, невинных мелочей вроде полномерного поцелуя, возможности трогать ее и чтобы она его трогала. Утешала

только надежда на брак. И каких удовольствий она их обоих лишила! Даже если они не могли соединиться до женитьбы, зачем эта извращенная сдержанность, эта мука ограничений? Он терпел, он не жаловался — вежливый дурак. Другой мужчина потребовал бы большего — или ушел бы. И если после года лишений он не удержался и в решительный момент сплоховал, то его вины в этом нет. Вот что. Он не признает своего унижения, отвергает его. Ее разочарованный крик, бегство из комнаты возмутительны, потому что причиной всему — она сама. От этого никуда не денешься: она не любила целоваться, не любила прикосновений, не любила, чтобы их тела были близко, не испытывала к нему интереса. Не чувственная, совершенно лишена желания. Она никогда не почувствует того, что чувствует он. Следующие шаги Эдуард сделал с роковой легкостью: все это она знала — как она могла не знать? — и обманывала его. Муж ей нужен был для респектабельности, или для того, чтобы угодить родителям, или потому, что все выходят замуж. Или думала, что это чудесная игра. Она не любила его, она не способна любить так, как любят мужчины и женщины, она понимала это и скрывала от него. Она не честная.

Нелегко обдумывать такие жестокие истины в трусах и босиком. Он натянул брюки, нашарил носки и туфли и снова продумал все от начала до конца, убирая шероховатости, затруднительные переходы, вводя связки, и так усовершенствовал свою аргументацию, что гнев разыгрался в нем с новой силой. Он распалил себя, и это было бы бессмысленно, если бы осталось невысказанным. Необходима ясность. Она должна узнать, что он думает и чувствует, — ему необходимо объяснить ей и показать. Он сдернул со стула пиджак и стремительно вышел из номера.

ГЛАВА 5

Она смотрела, как он идет к ней по берегу — сначала его фигура была лишь темно-синим пятном на потемневшей гальке, иногда будто неподвижная, она пропадала, растворялась в потемках, потом вдруг оказывалась ближе, как шахматная фигура, передвинутая на несколько клеток. Осадок дневного света лежал на берегу, а сзади нее, на востоке, на Портленде горели огоньки, и испод облака налился тусклым желтым отсветом городских фонарей. Она смотрела на него и хотела, чтобы он шел медленнее, испытывала виноватый страх перед ним и отчаянно желала подольше побыть одной. Какой бы ни сложился у них разговор, он вызывал у нее ужас. В ее представлении, не было таких слов, чтобы назвать происшедшее, не было общего языка, на котором двое разумных взрослых могли бы разговаривать о таких событиях. Тем более невообразим был спор. Невозможно было никакое обсуждение. Она не хотела об этом думать и надеялась, что он настроен так же. Но тогда о чем им вообще говорить? Зачем тогда они здесь? Это

дело лежало между ними осязаемо, как географический пункт, как гора или мыс. Безымянное, необратимое. И ей было стыдно. Она была потрясена своей выходкой, потрясение еще отдавалось внутренней дрожью и как будто даже шумом в ушах. Вот почему она убежала так далеко по берегу, по податливой гальке, в неподходящих туфлях — подальше от спальни и от того, что в ней случилось, подальше от себя. Она вела себя кошмарно. *Кошмарно*. Это топорное, расхожее слово она повторила про себя несколько раз. В сущности, это был извинительный термин — она кошмарно играла в теннис, ее сестра кошмарно играла на рояле, — и Флоренс понимала, что слово вуалирует, а не характеризует ее поведение.

В то же время она помнила его позор — когда он поднялся, растерянный, со стиснутыми зубами, и по хребту его проходили змеиные судороги. Но она старалась не думать об этом. Не только у нее, но и у него что-то не в порядке — могла ли она признаться себе, что ее это чуточку обрадовало? Ужасно было бы, но и утешительно, если бы он страдал какой-нибудь врожденной болезнью, наследственным постыдным недугом, о котором только молчат, вроде недержания или рака — это слово она никогда не произносила

вслух из суеверного страха, что оно заразит через рот. Глупость, конечно, в которой она никому не призналась бы. Но тогда они могли бы жалеть друг друга, соединенные в любви своими бедами. Она и жалела его, но чувствовала себя немного обманутой. Если у него что-то не в порядке, почему не признался ей по секрету? Хотя она отлично понимала, почему он не мог. Ведь и она умолчала. Да и как он мог признаться в своей слабости — какими словами начать? Не существовало таких слов. Такой язык еще надо было выработать.

Развивая эту мысль, она вместе с тем отлично сознавала, что никакого изъяна в нем нет. Совсем никакого. Дело в ней, только в ней. Она стояла, прислоняясь к большому лежащему дереву, вероятно выброшенному на берег штормом, ошкуренному волнами, гладкому и затвердевшему от соли. Ее поясница удобно поместилась между стволом и большим суком, и массивный ствол еще отдавал остатнее дневное тепло. Так мог бы младенец нежиться в сгибе материнской руки, но Флоренс не верила, что такое бывало с ней. Руки у Виолетты были худые и напряженные от постоянного писания и мыслительной работы. Когда Флоренс было пять лет, у них служила норлендская няня, полненькая и уютная, с му-

зыкальным шотландским голосом и красными руками — но ей пришлось уйти из-за какой-то некрасивой истории.

Флоренс продолжала наблюдать за приближением Эдуарда, уверенная, что он ее еще не видит. Она могла спуститься на другую сторону косы и вернуться по берегу Флита, но хоть и боялась встречи, решила, что сбежать — чересчур жестоко. Его плечи ненадолго обозначились на фоне серебристой воды, полоски течения, уходящей позади него далеко в море. Она уже слышала хруст гальки под его ногами; это значило, что он услышал бы ее шаги. Он знал, в какой стороне ее искать, потому что так они заранее договорились: после ужина прогуляться по знаменитой стрелке с бутылкой вина. Собирать камешки, сравнивать их и проверить, в самом ли деле штормы рассортировали гальку по размерам вдоль косы.

Вспомнив об этом несостоявшемся удовольствии, она не особенно огорчилась: сразу же вспомнила другой план, мысль, недодуманную раньше вечером. Любить и дать друг другу свободу. Можно завести об этом речь, сделать такое смелое предложение, думала она, — но только не ему. Эдуарду оно может показаться смехотворным, дурацким, даже оскорбительным. Она

никогда не могла в полной мере оценить свою наивность, потому что в некоторых вопросах считала себя вполне умудренной. Надо было еще подумать. Но через минуту он будет здесь, и начнется ужасный разговор. Это был еще один ее уязвимый пункт — она не знала, какую позицию ей занять; кроме ужаса — никакого представления о том, что может сказать он и какого ответа будет ждать от нее. Должна ли она просить прощения или ждать извинений от него? Сейчас не имело значения, любит она или разлюбила, — она ничего не чувствовала. Она хотела только побыть одна в сумерках, возле этого гигантского дерева.

В руке у него был как будто сверток. Он остановился в десятке шагов; уже это показалось ей недружелюбным, и в ней тут же вспыхнула ответная враждебность. Зачем он сразу за ней погнался?

И правда, в его голосе слышалась досада.

— Вот ты где.

Она не нашла в себе сил ответить на эту бессмысленную фразу.

— Обязательно надо было так далеко уходить?

— Да.

— До гостиницы километра три, наверное.

Она сама удивилась резкости своего тона.

— Мне все равно сколько. Я хотела уйти.

Он не стал отвечать. Перенес вес с ноги на ногу, и галька хрустнула под туфлей. Теперь Флоренс увидела, что нес он в руке пиджак. На берегу было тепло и влажно, теплее, чем днем. Ее рассердило, что он озаботился захватить пиджак. Только галстука не хватало! До чего же он раздражал ее — хотя несколько минут назад ей было стыдно за себя. Обычно ей очень хотелось хорошо выглядеть в его глазах, но сейчас было все равно.

Он приготовился сказать ей то, ради чего пришел, и сделал шаг вперед.

— Послушай, это смешно. Это неправильно, что ты убежала.

— Вот как?

— Честно говоря, чертовски неприятно.

— Правда? Знаешь, чертовски неприятно было то, что ты сделал.

— Что именно?

Перед тем как ответить, она закрыла глаза.

— Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. — Потом она будет терзаться из-за своей грубости, но сейчас добавила: — Это было абсолютно отвратительно.

Ей показалось, что он охнул, как от удара в

грудь. Продлись пауза после этого на несколько секунд дольше, чувство вины успело бы проснуться в ней и она добавила бы что-нибудь менее обидное.

Но ответ последовал быстро, наотмашь:

— Ты понятия не имеешь, как обращаться с мужчиной. Имела бы — этого бы не случилось. Ты никогда меня к себе не подпускала. Ты ничего в этом не смыслишь, так? Ведешь себя, как будто у нас тысяча *восемьсот* шестьдесят второй. Ты даже целоваться не умеешь.

Она услышала свой ровный голос.

— Бессильного отличить умею.

Но она не это хотела сказать, эти жестокие слова были совсем не ее. Это вторая скрипка отвечала первой — риторический выпад в ответ на внезапную острую атаку, на издевку, которая слышалась в этих повторявшихся «ты».

Если она и задела его за живое, то виду он не показал — впрочем, она почти не различала его лица. Может быть, темнота и придала ей дерзости. Он заговорил, не повышая голоса:

— Я не допущу, чтобы меня унижали.

— А я не допущу, чтобы меня запугивали.

— Я тебя не запугиваю.

— Нет, запугиваешь. Всегда запугивал.

— Это бред. О чем ты говоришь?

Она не была уверена, что ведет себя правильно, но ее несло.

— Ты все время на меня давишь, давишь, чего-то хочешь от меня. Мы не можем просто побыть вместе. Просто быть счастливыми. Это постоянное давление. Ты все время хочешь чего-то еще. Какое-то бесконечное вымогательство.

— Вымогательство? Не понимаю. Надеюсь, ты не о деньгах.

Она говорила не о деньгах. Этого у нее и в мыслях не было. Какой абсурд — вообще о них вспомнить. Как он смеет. Она сказала:

— Ты сам о них заговорил. Значит, думаешь об этом.

Ее уязвил его сарказм. Или развязность. Она имела в виду нечто более существенное, чем деньги, только не умела это выразить. Что его язык все глубже старается влезть ей в рот. Что рука забирается все выше под юбку или под блузку. Что тянет ее руку к своему паху. Что как-то особенно глядит в сторону и умолкает. Молчаливо ждет от нее чего-то большего, а она не дает — и тогда разочарование, досада на оттяжки. Какую бы границу она ни перешла, ее ждет новая, следующая. Любая ее уступка увеличивает требования

— и опять разочарование. Даже в самые счастливые минуты над ними нависала обвиняющая тень, маячила хмурая его неудовлетворенность, фигура постоянной грусти, причину которой они оба видели в ней. Она хотела любить и быть собой. Но чтобы быть собой, она должна была все время говорить «нет». А потом она уже не была собой. Ее записали в ущербные, считают противницей нормальной жизни. Она злилась на то, что он так быстро погнался за ней по берегу, не дал побыть одной. И то, что происходило у них здесь, на берегу Ла-Манша, было лишь второстепенной темой в общей картине. Флоренс уже могла заглянуть в будущее. Сейчас они поссорятся, потом помирятся или наполовину помирятся, ее уговорят вернуться в отель, и ожидания возобновятся. И она опять их не оправдает. Она не могла вздохнуть. Ее браку восемь часов, и каждый час лежал на ней грузом, тем более тяжелым, что она не знала, как высказать ему эти мысли. Так что деньги как тема сгодятся сейчас — даже отлично сгодятся, поскольку он рассержен.

Он сказал:

— Меня вообще не интересовали деньги, ни твои, ни чьи-нибудь еще.

Она знала, что это так, но ничего не ответила.

Он передвинулся, теперь она ясно видела его силуэт на фоне потускневшей воды.

— Так что держи при себе свои деньги, отцовские деньги, и трать на себя. На меня не расходуйся.

Голос его звучал напряженно. Она сильно его обидела, сильнее, чем намеревалась, но теперь ей было все равно, тем более что лица его не видела. Прежде они никогда не говорили о деньгах. Ее отец подарил на свадьбу две тысячи фунтов. Они как-то туманно решили купить когда-нибудь на эти деньги дом.

Он сказал:

— Ты думаешь, я выклянчивал у тебя эту работу? Ты сама ее придумала. Мне она не нужна. Я не хочу работать у твоего отца. Так ему и скажи. Я передумал.

— Сам скажи. Он будет рад. Ему пришлось очень постараться ради тебя.

— Отлично. Скажу.

Он повернулся и пошел от нее к воде, но через несколько шагов вернулся, с бесстыдным ожесточением пиная гальку, иногда долетавшую до ее ног. Его злость еще сильнее распалила ее, и она вдруг подумала, что ей теперь понятно, в чем их беда: они были слишком вежливы, слиш-

ком скованны, слишком боязливы, ходили друг перед другом на цыпочках, лепетали, шептали, уступали друг другу, соглашались. Они едва знали друг друга и не могли узнать из-за дымовой завесы приятных умолчаний, которая скрывала их различия и в той же мере ослепляла их, в какой связывала. Они боялись разногласий, а теперь гнев освободил ее. Она хотела сделать ему больно, наказать его, чтобы почувствовать свою отдельность. Это был настолько незнакомый порыв — радостная жажда разрушения, — что она не могла ему сопротивляться. Сердце билось сильно, ей хотелось сказать, что она его ненавидит, и она была готова произнести эти жестокие, чудесные слова, которых ни разу не говорила в жизни, — но он заговорил первым. Он вернулся к началу разговора и призвал на помощь все свое достоинство, чтобы упрекнуть ее.

— Зачем ты убежала? Это было неправильно и обидно.

Неправильно. Обидно. Жалкие слова! Она ответила:

— Я тебе уже сказала. Мне надо было уйти. Невыносимо было оставаться с тобой.

— Ты хотела меня унизить.

— Хорошо. Понимай так, если угодно. Я хотела

тебя унизить. Ничего другого ты не заслуживаешь, если не способен себя контролировать.

— Такое могла сказать только стерва.

Это слово было как взрыв сверхновой в ночном небе. Теперь она могла сказать все, что хотела.

— Если ты так считаешь, уйди. Уйди с моих глаз. Прошу тебя, Эдуард. Ты понимаешь или нет? Я пришла сюда, чтобы побыть одной.

Он понимает, что это слово слишком далеко его завело и пути отступления нет, — это ей было ясно. Повернувшись к нему спиной, она сознавала, что актерствует, что это тактический прием, притворство, которое она всегда презирала в своих более экспансивных подругах. Она устала от разговора. Даже при наилучшем исходе она всего лишь вернется к прежнему молчаливому маневрированию. В плохом настроении Флоренс часто задумывалась, что бы ей больше всего хотелось сейчас сделать. Тут задумываться не пришлось. Ей представилось, как она стоит на железнодорожной платформе в Оксфорде, со скрипкой в футляре, нотами и заточенными карандашами в старой холщовой школьной сумке, ждет лондонского поезда, чтобы ехать на репетицию квартета, на встречу с красотой и трудностями, с проблемами, которые действительно можно

решить друзьям, работающим вместе. Тогда как здесь, с Эдуардом, разрешиться ничего не могло, если только она не сделает своего предложения — а она сомневалась, что у нее хватит смелости. До чего же она несвободна, связав свою жизнь с этим странным человеком из деревушки в Чилтернских холмах, знающим имена полевых цветов и злаков и всех средневековых королей и пап. Теперь ей казалось удивительным, что она сама выбрала эту ситуацию, запуталась по своей воле.

Она все еще стояла спиной к нему и чувствовала, что он придвинулся ближе. Она представляла себе, как он стоит совсем рядом, опустив руки, и тихо сжимает и разжимает кулаки, не решаясь тронуть ее за плечо. С совсем уже темных холмов за лагуной доносилась песня одинокой птицы, витиеватая, флейтовая. Судя по красоте ее и времени суток, можно было подумать, что это соловей. Но живут ли соловьи у моря? И поют ли в июле? Эдуард знал, но у нее не было настроения спрашивать.

Он произнес прозаическим тоном:

— Я любил тебя, но с тобой это очень трудно.

Смысл прошедшего времени был обоим понятен, и они молчали. Наконец она сказала с

недоумением:

— *Любил?*

Он не поправился. Возможно, он сам был неплохим тактиком. Сказал только:

— Мы могли быть совершенно свободны друг с другом. Мы могли бы жить в раю. Вместо этого у нас какая-то гадость.

Бесспорная справедливость последней фразы и более обнадеживающая форма предыдущей обезоружили ее. Но слово «гадость» напомнило о мерзкой сцене в спальне, о теплой жидкости, которая высыхала на ней и коркой стягивала кожу. Она твердо знала, что никогда больше такого не допустит.

И ответила без выражения:

— Да.

— В каком смысле «да»?

— Гадость.

Молчание, своего рода тупик неопределенной длины. Они слушали шум волн и, с перерывами, птицу, отлетевшую дальше, — песня теперь звучала тише, но еще отчетливее. Наконец, как она и ожидала, он положил руку ей на плечо. Прикосновение было ласковое, от него по позвоночнику, до самой поясницы растеклось тепло. Она не знала, что думать. Ей не нравилось, что она рас-

считывает момент, когда надо будет повернуться к нему, и видела себя его глазами: неловкая и холодная, как ее мать, непонятная, все осложняющая, вместо того чтобы мирно пребывать в раю. Поэтому она должна все упростить. Это ее долг, ее супружеский долг.

Повернувшись, она сразу отступила на шаг — не хотела, чтобы ее поцеловали — во всяком случае, сейчас. Ей нужно было прояснить свои мысли, перед тем как изложить план. Однако они стояли еще близко друг к другу, и в сумраке она все же различала его черты. Может быть, в это время луна у нее за спиной очистилась. Ей показалось, что он смотрит на нее с удивлением — как это часто бывало, когда он хотел сказать ей, что она красивая. Она ему не очень верила, его слова беспокоили ее — он мог хотеть чего-то, чего она никак не могла дать. Эта мысль ее отвлекла, и она не могла перейти к делу. Спросила:

— Соловей поет?

— Черный дрозд.

— Ночью? — Она не могла скрыть разочарование.

— Ему нужна самая лучшая эстрада. Бедняга вынужден трудиться изо всех сил. — И добавил: — Как я.

Флоренс рассмеялась. Она как будто отчасти забыла его перед этим, забыла, какой он на самом деле, а теперь он перед ней открылся, любимый человек, старый друг, который всегда мог сказать что-то неожиданное, милое. Но смех был немного натянутый, она чувствовала себя слегка сумасшедшей. Она не помнила, чтобы когда-нибудь ее чувства и настроения так быстро и резко менялись. И сейчас она собиралась сделать предложение, с одной стороны, абсолютно разумное, а с другой, вполне вероятно — ей самой было невдомек, — совершенно возмутительное. Она словно пыталась заново придумать само существование. И наверняка придумать неправильно.

Обрадовавшись ее смеху, он придвинулся, чтобы взять ее за руку, и она опять отступила. Важно было думать без помех. Она начала свою речь так, как отрепетировала ее мысленно, с самого важного заявления.

— Ты знаешь, что я тебя люблю. Очень, очень люблю. И знаю, что ты меня любишь. Я никогда в этом не сомневалась. Я люблю быть с тобой и хочу провести с тобой всю жизнь. И ты говоришь, что тоже этого хочешь. Все должно быть очень просто. Оказалось — нет, все разладилось, как ты и сказал. Хотя и любим. Я понимаю, что это

исключительно моя вина, и мы оба понимаем почему. Тебе уже, наверное, вполне ясно, что…

Она запнулась; он хотел заговорить, но она подняла руку.

— Что я довольно безнадежна, абсолютно безнадежна в смысле секса. Не просто бесполезна — я, кажется, не нуждаюсь в нем, как другие люди. Как ты. Во мне этого нет. Я не люблю этого, думать об этом не люблю. Не знаю, почему это так, но думаю, это вряд ли изменится. Или не сразу. По крайней мере, не представляю себе, чтобы изменилось. И если не скажу тебе сейчас, это всегда будет у нас камнем преткновения и доставит много огорчений и тебе, и мне.

На этот раз, когда она замолчала, он не попытался заговорить. Он стоял от нее в двух метрах, теперь только силуэт, и совсем неподвижный. Ей было страшно, но она заставляла себя продолжать:

— Может быть, мне надо к психоаналитику. Может быть, на самом деле мне надо убить мать и выйти замуж за отца.

Эта отчаянная шуточка, которую она придумала заранее, чтобы смягчить речь и выглядеть менее наивной, никакого отклика не получила. Эдуард оставался невидимкой, застывшим

двухмерным пятном на фоне моря. Неуверенным, трепетным движением она поднесла руку ко лбу и отодвинула несуществующую прядь. От нервозности она заговорила торопливее, но слова произносила четко. Как конькобежец на тонком льду, она ускорялась, чтобы не утонуть. Нанизывала фразу за фразой, как будто скорость сама могла родить смысл, как будто и мужа могла пронести мимо противоречий, прогнать по вираж у ее намерения так, чтобы он не успел найти ни одного возражения.

— Я подробно это обдумала, и это не так глупо, как может показаться на первый взгляд. Мы любим друг друга — это дано. Мы оба в этом не сомневаемся. Мы уже знаем, что нам хорошо друг с другом. Теперь мы вольны, каждый из нас, сделать свой выбор, выбрать свою жизнь. Правда же, никто не может учить нас, как нам жить. Мы сами себе хозяева! И люди теперь ведут самый разный образ жизни, они могут жить по своим правилам и ни у кого не спрашивать разрешения. Мама знает двух гомосексуалистов, они живут в квартире вместе, как муж и жена. Мужчины. В Оксфорде, на Боумонт-стрит. Никак это не афишируют. Оба преподают в Крайстчерче. Никто их не донимает. И мы можем принять свои правила.

Я знаю, что ты меня любишь, поэтому и говорю тебе. Я что хочу сказать — Эдуард, я люблю тебя, и мы не обязаны быть такими, как все, да вообще — как кто-нибудь другой… никто не будет знать, что мы делали и чего не делали. Мы могли бы быть вместе, жить вместе, и, если бы ты захотел, действительно захотел, то есть если бы это случилось, а это, конечно, случилось бы, я бы поняла, больше того, я бы хотела этого, хотела бы, потому что хочу, чтобы ты был счастлив и свободен. Я бы совсем не ревновала, пока знаю, что ты меня любишь. Я бы любила тебя и играла музыку, больше я ничего не хочу от жизни. Правда. Хочу только быть с тобой, ухаживать за тобой, быть счастливой с тобой и работать с квартетом и когда-нибудь сыграть для тебя что-нибудь прекрасное, как тогда Моцарта, в Уигмор-холле.

Она вдруг замолчала. Она не собиралась говорить о своих музыкальных планах и подумала, что это было ошибкой.

Он выпустил воздух сквозь зубы — это было скорее шипение, чем выдох, а речь начал лающим звуком. Негодование его было столь яростно, что похоже было на торжество.

— Господи! Флоренс. Я правильно понял? Ты хочешь, чтобы я спал с другими женщинами?

Так, что ли?

Она тихо ответила:

— Нет, если не захочешь.

— Ты говоришь мне, что я могу спать с кем угодно, кроме тебя.

Она молчала.

— Ты и в самом деле забыла, что мы сегодня поженились? Мы не два старых педераста, тайно сожительствующих на Боумонт-стрит. Мы муж и жена!

Низкие облака разошлись, но луна не выглянула, и тусклый белесый налет ее света, просеявшегося сквозь верхнюю слоистую мглу, двигаясь вдоль берега, покрыл пару у большого лежачего дерева. Эдуард поднял крупный голыш и в ярости стал шлепать им то по левой ладони, то по правой.

Он почти кричал.

— Телом моим тебе поклоняюсь. Вот что ты сегодня обещала. Перед всеми. Неужели не понимаешь, как нелепа и гнусна твоя идея? Как оскорбительна. Для меня! То есть… то есть… — он искал слова, — как ты смеешь!

Он шагнул к ней, подняв руку с камнем, потом круто повернулся и с отчаянием швырнул камень в сторону моря. И раньше, чем камень упал,

чуть не долетев до воды, он снова повернулся к ней лицом.

— Ты меня обманула. Ты ведь мошенница. И знаю, кто ты еще. Знаешь, кто ты? Ты фригидная, вот кто. Фригидная. Но думала, что тебе нужен муж, и я был первым идиотом, который тебе попался.

Она знала, что не собиралась его обманывать, но все остальное, как только он это сказал, представилось чистой правдой. Фригидная — это жуткое слово, — она понимала, насколько оно приложимо к ней. Она именно то, что определяют этим словом. Ее предложение было гнусным — как она этого раньше не поняла? — и, несомненно, оскорбительным. И хуже всего — она нарушила обещание, данное в церкви, прилюдно. Как только он это сказал, все выстроилось. В его глазах и в собственных тоже она ничтожество.

Ей больше нечего было сказать, и она вышла из-под защиты выброшенного морем дерева. Чтобы вернуться в гостиницу, ей надо было пройти мимо Эдуарда, и, проходя, она остановилась перед ним и сказала почти шепотом:

— Я сожалею, Эдуард, горько сожалею.

Она постояла немного, помешкала, ожидая его ответа, и пошла дальше.

Ее слова, странная архаичность выражения будут долго преследовать его. Он будет просыпаться по ночам и слышать их или что-то вроде их эха, их печальный, томительный тон, и будет стонать, вспоминая эту минуту, свое молчание и то, как он рассерженно отвернулся от нее и провел на берегу еще час, смакуя причиненную ему обиду, оскорбление и зло, упиваясь чувством своей нравственной и трагической правоты. Он расхаживал по податливой гальке, швырял в море камни и выкрикивал непристойности. Потом привалился к дереву и мечтательно жалел себя, пока снова не распалил в себе гнев. Потом стоял у кромки берега, думая о ней, и в рассеянности не замечал, что волны лижут его туфли. В конце концов побрел назад, то и дело останавливаясь, чтобы апеллировать к строгому и беспристрастному судье, который отлично понимал его претензии.

К тому времени, когда он пришел в гостиницу, она успела собрать вещи и уехать. Записки в номере не оставила. У стойки портье он переговорил с двумя парнями, которые подавали им ужин. По их словам, в семье кто-то заболел и ее срочно вызвали домой — они были явно удивлены тем, что он об этом не знает, хотя никак не высказа-

лись. Помощник директора любезно отвез ее в Дорчестер, где она надеялась успеть на последний поезд, а потом пересесть на оксфордский. Направившись к лестнице, чтобы вернуться в номер для новобрачных, Эдуард не увидел, как молодые люди многозначительно переглянулись, но легко мог себе это представить. Остаток ночи он пролежал под балдахином, полностью одетый, по-прежнему в ярости. Мысли неслись одна за другой в бредовом хороводе, постоянно возвращаясь. Выйти за него, потом отказать, это чудовищно, хотела, чтобы спал с другими женщинами, — может, хотела наблюдать, это было унизительно, это невероятно, никто бы не поверил, сказала, что любит, а он и груди ее толком не видал, заманила под венец, даже целоваться не умеет, обманула, одурачила, никто не узнает, это должно остаться его постыдной тайной, что она вышла за него, а потом отказала, чудовищно…

Уже перед рассветом он поднялся, перешел в гостиную, встал позади своего стула, соскреб застывший соус с мяса и картошки на своей тарелке и съел их. После этого опустошил ее тарелку — ему было безразлично, чья она. Доел все мятные шоколадки, потом весь сыр. На заре он вышел из гостиницы и на маленькой машине Виолетты

Пойнтинг долго ехал по узким дорогам между высоких живых изгородей к пустому оксфордскому шоссе. В открытое окно врывался запах свежего навоза и скошенной травы.

Он оставил машину с ключом в зажигании перед домом Пойнтингов и, не взглянув на окно Флоренс, с чемоданом в руке быстро пошел через весь город на станцию, чтобы успеть на утренний поезд. Обалделый от усталости, он проделал пешком весь длинный путь от Хенли до дома, намеренно избегая ее прошлогоднего маршрута. С какой стати идти по ее следам? Он не захотел объясниться с отцом. Мать уже забыла, что он женился. Близняшки донимали его расспросами и проницательными предположениями. Он отвел Гарриет и Анну в конец сада и заставил каждую по отдельности торжественно поклясться, приложив руку к сердцу, что они никогда больше не упомянут имени Флоренс.

Через неделю он узнал от отца, что миссис Пойнтинг деловито позаботилась о возвращении всех свадебных подарков. Лайонелл и Виолетта вдвоем и без лишнего шума возбудили дело о расторжении брака ввиду его неосуществимости. По подсказке отца Эдуард написал Джеффри Пойнтингу, президенту «Пойнтинг электроникс»,

официальное письмо с сожалениями о «перемене планов» и, не упоминая Флоренс, принес свои извинения, отказался от должности и пожелал всего хорошего.

Спустя год гнев его остыл, но из гордости он по-прежнему не желал с ней видеться и писать ей. Он боялся, что она уже с кем-то другим, и, поскольку она тоже молчала, убедил себя, что так оно и есть. К концу этого славного десятилетия, когда его жизнь испытала натиск новых волнений, новых свобод и мод, а также хаоса многочисленных романов — тут он наконец приобрел сноровку, — он часто задумывался о ее странном предложении, и оно уже не казалось ни таким нелепым, ни тем более гнусным и оскорбительным. В новых обстоятельствах века оно представлялось смелым, далеко опередившим время, наивно великодушным — попыткой самопожертвования, которой он не смог понять. Черт, какая щедрость! — сказали бы его приятели; но он никому не рассказывал о том вечере. В это время, в конце шестидесятых, он жил в Лондоне. Кто предсказал бы такие превращения — торжество раскрепощенной чувственности, неосложненную готовность множества красивых женщин? Эдуард шел сквозь эти недолгие

годы, как сбитый с толку счастливый ребенок, которому отсрочили затяжное наказание и он не в силах окончательно поверить в свою удачу. Серия коротких исторических книг и все мысли о серьезной науке потерялись позади, хотя не было такого отчетливого момента, когда бы он твердо запланировал свое будущее. Как незадачливый сэр Роберт Кэри, он просто выпал из истории, чтобы уютно устроиться в настоящем.

Он участвовал в организации разных рок-фестивалей, помогал открыть диетическую столовую в Хэмпстеде, работал в магазине грампластинок недалеко от канала в Кэмден-тауне, писал о рок-музыке в маленьких журналах, пережил ряд беспорядочных, наезжавших один на другой романов, путешествовал по Франции с женщиной, которая на три с половиной года стала его женой, и жил с ней в Париже. Со временем стал совладельцем магазина пластинок. Был слишком занят, чтобы читать газеты, а кроме того, какое-то время держался позиции, что нельзя верить большой прессе, контролируемой, как всем известно, правительством, военными и финансовыми кругами, — впоследствии он эту точку зрения отверг.

Если бы и читал в то время газеты, то вряд ли

обратился бы к страницам культуры, к длинным глубокомысленным рецензиям на концерты. Его нестойкий интерес к классической музыке совершенно угас, и он сосредоточился на рок-н-ролле. Поэтому он так и не узнал о триумфальном дебюте в июле 1968 года Эннисморского квартета в Уигмор-холле. Критик в «Таймс» приветствовал «явление молодой страсти, свежей крови в современном культурном пространстве». Он хвалил «проникновенность, напряженную глубину, пронзительность исполнения», которая свидетельствовала о «поразительной музыкальной зрелости артистов, еще не достигших тридцатилетнего возраста. Они с властной свободой распоряжались всем арсеналом гармонических и динамических эффектов, не испытывая никаких трудностей с богатым полифоническим письмом, характерным для позднего Моцарта. Его ре-мажорный квинтет никогда еще не исполнялся так прочувствованно». В конце рецензии автор особо выделил лидера — первую скрипку. «Затем прозвучало прекрасное, выразительное, полное духовной мощи адажио. Мисс Пойнтинг с присущим ей певучим тоном и изысканной лиричностью фразировки играла, если мне будет позволено так выразиться, как влюбленная

женщина, влюбленная не только в Моцарта и в музыку, а в самое жизнь».

Даже если бы Эдуард прочел эту рецензию, он все равно не узнал бы — никто не знал, кроме Флоренс, — что, когда в зале зажегся свет и ошеломленные музыканты встали и кланялись восторженно аплодировавшей публике, взгляд Флоренс невольно остановился на середине третьего ряда, на месте 9С.

В последующие годы, когда Эдуард вспоминал ее и мысленно разговаривал с ней, или сочинял в голове письмо, или воображал их случайную встречу на улице, ему казалось, что для объяснения его жизни хватит минуты, половины страницы. Что он с собой сделал? Он плыл по течению, полусонный, невнимательный, бездумный, бездетный, благополучный. Скромные достижения его были по большей части материальными. У него была маленькая квартирка в Кэмден-тауне, половинная доля коттеджа в Оверни и два специализированных магазинчика грампластинок — джазовых и рок-н-ролла, — шаткие предприятия, потихоньку вытесняемые с рынка интернет-магазинами. Он полагал, что друзья считают его неплохим другом, и бывали веселые времена, озорные времена, особенно

в молодости. У него было пять крестников, но участие в них он стал принимать, только когда им стало под двадцать или даже за двадцать.

В 1976 году умерла мать Эдуарда, и четырьмя годами позже он переселился в коттедж, чтобы ухаживать за отцом, у которого быстро прогрессировала болезнь Паркинсона. Гарриет и Анна были замужем, с детьми, и обе жили за границей. К этому времени у сорокалетнего Эдуарда за спиной уже был распавшийся брак. Три раза в неделю он ездил в Лондон заниматься своими магазинами. Отец умер дома в 1983 году, и его похоронили рядом с женой на церковном кладбище в Писхилле. Эдуард остался в коттедже — жильцом: юридическими владельцами были сестры. Первые годы он сбегал сюда от Кэмден-тауна, а в начале девяностых осел здесь окончательно, один. Физически Тёрвилл-Хит, по крайней мере их угол поселка, не сильно отличался от того, в котором Эдуард вырос. Соседями теперь были не сельскохозяйственные рабочие и мастеровые, а люди, ездившие на работу в город, и владельцы вторых домов, все, в общем, дружелюбные. И Эдуард не сказал бы о себе, что он несчастлив, — в числе лондонских друзей была женщина, которая ему нравилась, на шестом десятке он играл

в крикет за «Тёрвилл-Парк», он принимал живое участие в Историческом обществе города Хенли, участвовал в восстановлении исторических плантаций водяного кресса в Юэлме. Два дня в месяц он работал в фонде помощи детям с черепно-мозговыми травмами в Хай-Уикоме.

Даже на седьмом десятке, высокий, грузный мужчина с поредевшими седыми волосами и румяным, здоровым лицом, он любил длинные пешие прогулки. Он ежедневно проходил по липовой аллее, а в хорошую погоду совершал круговой маршрут, чтобы полюбоваться полевыми цветами на пастбище у Мейденсгроува или бабочками в природоохранной зоне Бикс-Боттом, и возвращался через буковый лес к церкви Писхилла, где предполагал быть похороненным тоже. Иногда он доходил до развилки троп в буковом лесу и думал, что тут она, наверное, сверялась с картой в то августовское утро, стремясь к нему, — всего в нескольких шагах и сорока годах от него теперешнего. Или останавливался над долиной Стонор и спрашивал себя, не здесь ли она задержалась тогда, чтобы съесть апельсин. Наконец-то он мог признаться себе, что никого не любил так сильно, как ее, что никогда не встречал ни мужчины, ни женщины, которые

могли бы сравниться с ней серьезностью. Может быть, если бы он остался с ней, то прожил бы собраннее, стремился бы к более высоким целям и, пожалуй, написал бы исторические книги. Он был далек от классической музыки, но знал, что Эннисморский квартет стал выдающимся ансамблем, глубоко уважаемым в музыкальном мире. Он никогда не посещал концертов, не покупал коробок с дисками Бетховена или Шуберта — и даже не смотрел в их сторону. Он боялся увидеть ее фотографию, узнать, что с ней сотворили годы, услышать подробности ее жизни. Предпочитал сохранить ее такой, какой она осталась в его воспоминаниях, с одуванчиком в петле рубашки, бархатной лентой в волосах, с холщовой сумкой через плечо, и ее красивое лицо с твердым костяком и широкой безыскусной улыбкой.

Когда он думал о ней, ему было удивительно, что он не удержал эту девушку со скрипкой. Теперь, конечно, он понимал, что ее смиренное предложение не играло никакой роли. Единственное, что ей было нужно, — уверенность в его любви и с его стороны подтверждение, что спешить некуда, когда впереди вся жизнь. Любовью и терпением — если бы у него было и то и другое — они одолели бы первые трудности. И

тогда какие дети могли бы родиться у них, какая девочка с лентой в волосах могла бы стать его любимым отпрыском. Вот как может перевернуться весь ход жизни — из-за бездействия. На Чизил-Бич он мог крикнуть ей вдогонку, мог пойти за ней. Он не знал или не хотел знать, что, убегая от него в отчаянии, в уверенности, что теряет его, она никогда не любила его сильнее или безнадежнее, и звук его голоса был бы спасением, она вернулась бы. Но нет, в холодном и праведном молчании он стоял и смотрел, как в летних сумерках она торопливо уходит по берегу — звук затрудненных шагов заглушало хлопанье маленьких волн, и скоро сама она превратилась в смутное, убывавшее пятнышко на фоне громадного прямого каменистого тракта, мерцавшего в недужном свете.